И. М. Василевский
(не Буква)

БЕЛЫЕ МЕМУАРЫ



Издательство „Петроград"
ПЕТРОГРАД — 1923 — МОСКВА.

С. КУЩЕНКЪ.

И. М. ВАСИЛЕВСКИЙ

(НЕ-БУКВА)

БЕЛЫЕ МЕМУАРЫ

Воспоминания М. В. Родзянко, ген. А. И. Деникина, ген. А. С. Лукомского, ген. П. Н. Краснова, графини М. Клейнмихель, З. Н. Гиппиус, Ив. Наживина, Бор. Суворина, А. А. Демьянова и др.



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОГРАД“

ПЕТРОГРАД — МОСКВА

1923



Типо-лит. „Красный Печатник“, Петроград, Международный, 75.

Петрооблит № 4445. Тираж 11.000 экз.

I.

Голубая кровь.

В старые времена на писании мемуаров специализировались, главным образом, обиженные отставные сановники.

В нашу эпоху — в отставке, без мундира и пенсии, — оказались целые толпы. Удивляться ли, что так изумительно велико с каждым днем растущее количество мемуаров?

Вот они, лежат предо мной грозной грудой сто сорок томов белых мемуаров. Кого, кого только нет в этой яркой и поучительной коллекции. Здесь и очаровательные дамы: графиня Клейнмихель, и фрейлина А. А. Вырубова, и княгиня Палей, и Н. А. Лаппо-Данилевская, и З. Н. Гиппиус-Мережковская и т. д. и т. д. Тут и генералы, целая коллекция бравых царских генералов: ген. А. И. Деникин и ген. А. С. Лукомский, и ген. П. Н. Краснов, и еще, и еще, целый ряд иных воинских чинов, от юнкера А. Вонсяцкого — до старого полковника Ф. Винберга включительно.

А далее политические деятели: от М. В. Родзянко и П. Н. Милюкова с А. Ф. Керенским и Б. В. Савинковым, и пышный букет публицистов: и Борис Суворин, и Алексей Суворин (Порошин), и В. В. Шульгин.

Белая кость — вот главное, что отличает авторов всех этих белых мемуаров. Белая кость и голубая кровь — вот та общая психологическая черта, какая

роднит меж собой и наименее похожих друг на друга авторов белых мемуаров.

Надо внимательно вдуматься в эту вот основную черту психологии этих бывших людей, чтобы разобраться в подавляющей груде изданных ими материалов.

Как создалась эта психика белой кости? Откуда взялись на Руси все эти представители голубой крови?

Небольшая историческая справка, беглый взгляд в прошлое очень облегчит нам понимание нынешней психологии людей голубой крови, сочиняющих белые мемуары:

— Дворянская культура, тургеневские девушки, очарование подлинного барства, истинного аристократизма... Как много сожалений обо всем этом находишь иной раз и в своей душе, испуганной густым напором всяческого пролеткульта. — Были ведь на Руси подлинные аристократы, а теперь? Глядите, как густо прет чумазый.

Но то, что называется аристократией — это дело наживное. Я помню, как меня поразил маленький штришок, касающийся биографии сиятельного князя Меньшикова.

В свое время, не только мальчишкой, но уже и на возрасте, — он, как известно, бегал по улицам с лотком и продавал пироги с луком, перцем и собачьим сердцем. Но вознесенный Петром Великим на верхние ступени (кроме государственных заслуг у Меньшикова были еще, как известно, и те отношения с Петром, от каких теперь гомосексуалистов лечат, пользуясь открытиями проф. Штейнаха), как скоро забыл этот новоявленный князь свое демократическое происхождение.

Когда Меньшиков оказался на высоте, и при Петре II провозгласил себя генералиссимусом и выдал сам себе всевозможные чины и ордена, — он неожиданно сам стал считать себя подлинным аристократом.

Когда, наприм., королевский дом Ангальт-Цессауский обратился к нему с предложением выдать его дочь

за наследного принца, Меньшиков отвечает категорическим отказом. По его сведениям, в династии Ангальт-Цессауской был случай женитьбы одного из членов этой династии на дочери простого аптекаря. Светлейший кн. Меньшиков с такого рода парвеню родниться не может. Ему, продававшему на улицах пироги с лотка, невместно соглашаться на такое сомнительное родство.

Быть может, однако, пример Меньшикова — это только случайное и каррикатурное исключение? Но примеров такого рода в истории русской аристократии не оберешься.

Не будем говорить о тех чрезвычайно многочисленных родах аристократии, которые, как известно, возвысились благодаря тому, что Екатерина, Елизавета и другие женщины на троне очень ценили так-называемую «гвардейскую правоспособность», и раздавали солдатам, конюхам, певчим и т. п., которые имели удовольствие им понравиться, графские и княжеские звания, сотни тысяч крепостных, огромные имения, вотчины и состояния. Ограничимся более спокойным примером.

Когда в свое время Петр Великий приблизил к себе бывшую прачку, «солдатскую женку», Екатерину, был, повествуют летописцы, такой бесспорно установленный случай:

Один из сановников того времени, посланный в Ригу, по пути, торопя ямщика, как полагалось, дал ему в зубы. Дело и не по тем временам больше, чем естественное, — но ямщик неожиданно обиделся. «Меня бить нельзя, я царю родственником довожусь».

Началось следствие с дыбой и кнутом. О деле довели до сведения Петра, и скоро выяснилось, что ямщик говорит правду. Нашли целую толпу родственников, родных братьев и сестер императрицы. Был здесь кроме ямщика, Иоганна, и какой то огородник, и сапожник, и землекоп, и какая то проститутка. Проститутку, по приказу Петра, немедленно спрятали в тюрьму. Остальных вызвали в Петербург. Царь дал им тайную аудиенцию в доме Ягужинского, обошелся

с ними милостиво, обещал им небольшую пенсию и поставил только одно условие, чтобы о них «ни слуху, ни духу не было». Живи у себя в деревне и не дыши.

Но вот Петр умер. Екатерина с помощью гвардии захватила престол, и всех этих родичей, конюхов и сапожников немедленно выписали в Петербург. Им дали чины, богатые поместья и крепостных; дали, уже кстати, и новые фамилии. Один брат стал называться — графом Гендриковым, другой — графом Скавронским, третий — графом Ефимовским.

И вот всматриваешься: до чего скоро почувствовали себя и впрямь подлинными аристократами эти недавние сапожники и землекопы!

Уже через несколько лет оказывается, что граф Скавронский презирает все русское, любит только французские нравы и еще итальянскую оперу. Его крепостные обязаны говорить с ним не иначе, как нараспев! У него свой театр, на котором крепостные девки изображают фею Армиду, и граф не брезгает тем, чтобы во время представления, забравшись на сцену, собственноручно проучить арапником премьершу. Остальных трех балерин, не угодивших его светлости, отправляют на конюшню.

Еще эффектнее ведет себя другой новоявленный аристократ этой же серии, граф Гендриков. В царствование Елизаветы Петровны, во время его выезда на охоту, свора гончих, состоящая из 420 собак, перегрызла крестьянских овец и вот, обиженные крестьяне, отгоняя собак, осмелились убить двух из них. Его светлость, граф Гендриков, возмущен. По его приказу, провинившуюся деревню поджигают со всех четырех концов. Когда оказывается, что на пожарище еще остались кое-где пеньки, возле которых толпятся обездоленные и плачущие мужики, граф Гендриков предписывает на утро прислать 500 человек, которые бы перепахали всю площадь деревни. Чтоб и следа не оставалось!

Дело сделано. Обездоленные крестьяне пытаются жаловаться губернатору, но тот жалобы не принимает.

Дурак он, что ли, из-за каких то крестьян ссориться с аристократом. Крестьяне мечутся со своей жалобой от одного начальства к другому, но слушать их никто не желает. Тогда крестьяне посылают свою жалобу в Петербург. — Пусть царица рассудит.

Царица, и вправду, рассудила: через год после этого, встретившись с графом Гендриковым на балу, Елизавета Петровна, как оказывается, изволила погрозить ему пальчиком и сказать: «Эй, Генрих, не шали». Тем дело и кончилось.

Дело здесь вовсе не в жестокости. Мы помним дворянку Салтычиху, успевшую единолично умертвить истязаниями 139 крепостных. В области жестокостей удивить нас чем либо было бы трудно. Дело в том, до чего легко и быстро, до чего скоропалительно начинают себя чувствовать подлинными, всамделешными аристократами, «белой костью» и «голубой кровью» вчера еще торговавший пирогами Меньшиков, вчерашний землекоп Гендриков, вчерашний сапожник Скавронский.

Часто указывают на то странное отсутствие благородства, какое проявили дворяне российские, когда последнего дворянского царя, Николая II свергали с престола. — Так-таки и не нашлось ни одного рыцаря, никого, по настоящему преданного своему монарху! Только один охранник Зубатов покончил с собой от тоски по низвергнутому царю.

Увы, та картина, какую являло собой дворянство уже и при восшествии на престол первого из Романовых была еще печальнее. Целый ряд виднейших боярских родов успел передаться польскому королевичу Владиславу. Другие — присягали шведскому королевичу Карлу-Филиппу. Третьи, среди которых был Скопин-Шуйский, — призывали Габсбургов. Так вели себя именно самые старые и родовитые бояре. Что уж и говорить о тех, которые путем подкупов и взяток добивались престола для себя, или о мало заметных «выскочках» того времени Романовых («Кошкин род»

от Андрея Кобылы и Федора Кошки), чей представитель, малолетний неграмотный Михаил добился избрания потому, что, по выражению Ключевского, «искали царя не способнейшего, но удобнейшего».

Отдельная эпоха не может в полной мере дать представления о характерных особенностях русского дворянства. Но вот, например, пред нами судьба целого рода, яркая и характерная, судьба князей Голицыных.

Летописи дают нам, раньше всего, одного Голицына, который во время избрания на царство Романовых сильно интриговал, раздавал много денег, чтобы самому оказаться на престоле. Номер этот, как известно, не прошел. Пропали денежки задаром.

Но вот еще один Голицын, Василий Васильевич, любовник царевны Софьи. Это — один из образованнейших людей своего времени. Он, оказывается, блестяще говорит и пишет по латыни. У него огромная библиотека. Он, о ужас, мечтает даже об освобождении крестьян с землею и делится своими планами этого рода с царевной Софьей.

Правда, этот образованнейший человек не чужд суеверий и даже подвергает пыткам какого то крестьянина за то, что тот «напустил на него дурной глаз». Через несколько лет после воцарения Петра самого В. В. Голицына станут пытать по такому же делу: За то, что он «приворотными зельями» любви царевны добивался.

А вот и еще один Голицын. Это — старый шут и скоморох, выдвинувшийся в царствование Анны Иоанновны. Ему 61 год, но его «по высочайшему повелению» разводят с женой, и женят на старой шутихе, калмычке Бужениниковой. Свадьба, происходящая в знаменитом Ледяном Доме, сопровождается по воле ее величества целым рядом непристойных забав, и, когда молодых укладывают в ледяной комнате на ледяное ложе, к ним приставляют особую стражу. Пьяная потеха требует, чтобы они вели себя всенародно так, «как полагается» вести себя молодым, чтобы до утра не смели слезать со своего ледяного ложа.

От этого шутовского брака родились и в летописи дома Голицыных зачислены два сына, князь Андрей и князь Алексей. Есть кому свято блюсти пышные традиции рода. После смерти старой шутихи князь умудряется, впрочем, жениться снова в четвертый раз, и новые побеги появляются на генеалогическом древе князей Голицыных.

Но все эти детали исторической жизни ни на иоту не изменяют психологической уверенности все новых и новых поколений, в несомненном превосходстве, в подлинной аристократичности, в привилегированности и избранности «белой кости» и «голубой крови».

И вдруг — революция. Не та, картонная и игрушечная, из папье-маше сделанная, о какой «мечтали», напр., декабристы; не та, нарядная и праздничная, какой она рисовалась в мечтах и грезах, а подлинная, всамделишная, и оттого грубая и кровавая.

И вот уже ничего не осталось от старого, дворянского, аристократического рода Голицыных. Еще вчера — был блеск, и уют, и горделивое уважение к себе, и сейфы, и чины, и ордена. А сегодня... Сегодня в берлинских газетах печатаются об'явления ресторана «Альказар»: «С девяти час. вечера песни цыганского хора под управлением князя Голицына».

Но и это, оказывается, еще не предел:

Вот, наконец, и еще один князь Голицын, это — эмигрант, живущий в настоящее время в Париже. Этот успел прославиться. Все газеты обошло опубликованное Л. Сосновским письмо, с каким этот князь обратился к мужикам, живущим в его бывшем имении в Калужской губернии. «Грабьте, подлецы, все мое добро, грабьте. Только липовой аллеи не трогайте, которая моими предками посажена. На этих липах я вас, мерзавцев, вешать буду, когда вскоре в Россию вернусь».

Прочли мужики письмо в Волисполкоме, посмеялись в бороду и отнесли письмо князя в местный музей революции. Так и лежит там и ныне это письмо послед-

него представителя рода Голицыных, дожидаясь будущего историка.

Странными, путанными путями шла история России. Странными и путанными оказываются пути аристократии русской.

Злится где то заграницей князь Голицын, посмеиваются в бороду, сохраняя его письмо для «музея революции» калуцкие мужики, а жизнь идет своим ходом, перерождаясь и обновляясь во всем, от экономики и до психики.

— Ах, дворянская культура! ах, тургеневские девушки! ах, былая аристократическая красота!

Не выдумали ли, не изобрели ли мы многое в этой, на нагайке и бездельничестве взрощенной безнадежной красоте.

Аристократии в России доселе и вовсе не было. Были царские дворовые, были маленькие царьки-помещики.

Аристократия предполагает независимость и связанное с этим чувство собственного достоинства, воспитанное веками. Ничего подобного русское дворянство не знало. Не случайно с древних времен именовали они себя царскими. «Твоего царского величества рабы».

Те, кто назывались аристократами, всегда и сами то для себя ждали батожья, вырванных ноздрей, всенародного наказания кнутом и лютых пыток, и, сами битые, они еще беспощаднее избивали своих крепостных, меняли их на борзых щенят. Они не знали уважения к себе и от этого не знали уважения к другим. Подлинной аристократии еще не было и быть не могло на Руси.

Крыловские гуси гордились тем, что их предки Рим спасли. В данном случае нет и этого утешения. Предки, в огромном большинстве случаев, не спасали, а только губили Рим. И в решительную минуту, когда рухнул и повалился весь в основе своей гнилой уклад дворянского быта, у русской аристократии не оказалось никого, кроме барона Врангеля, как у русской интеллигенции не оказалось никого, кроме Керенского.

Пусть кто хочет жалеет о былом и прошлом, о дворянской культуре и дворянских гнездах.

Прет что то новое, густое, крепкое и подлинно жизнеспособное. Идет новая иная интеллигенция, новая иная аристократия. Переместились позиции, изменилась психика, перерождается душа. Где он, сутулый, хилый, нерешительный и прекраснодушный близорукий интеллигент российский? Где она, былая, так изумительно влюбленная в себя, аристократия, столько лет хваставшая какой то особой «дворянской культурой»?

Живая жизнь не желает знать былых иллюзий. Ей нужны сильные, юные, жизнеспособные и дерзкие.

Но представители белой кости и голубой крови — этими качествами увы — не обладают. Их загубила, испортила и извратила былая вольготная жизнь. У них все в прошлом, и вот они пишут мемуары. Это все, что им осталось.

Духовным отцом «белых мемуаров» надо считать, по моему, того старенького полковника, героя рассказа Тэффи, который, попав эмигрантом в Париж, долго смотрел на Триумфальную арку, на Елисейские поля и горько вздохнул:

— Все это очень хорошо. Но... — Ке фер? Фер то ке, вы скажите!

Этот старенький, пахнувший нафталином, полковник не впервые явился в наши дни. Вспомните, у Витте, графа Шереметева. В 1905 году, узнав, что Николай подписал манифест о конституции, граф немедленно распорядился все портреты Николая вынести на чердак, а главный из них — перевернуть лицом к стене.

Вспомните у Т. Мельник-Боткиной того старенького подполковника, который, узнав о переводе Николая в Тобольск, немедленно явился к дому, в котором жил б. царь, и целый час стоял на улице, в полной парадной форме, вытянувшись во фронт.

— Ке фер? Фер то ке, вы скажите?

Нет ответа. Идет вперед, катится грозной лавиной суровая, жестокая жизнь.

II.

„Белая кость“ и „мужицкий сын“.

Белая кость — это не случайный признак авторов белых мемуаров. Во всей огромной груде этих книг, я нашел только одного автора, который гордо говорит о себе, что он «крестьянский сын». Это И. Ф. Наживин.

На первый взгляд, его психика, как-будто, и не отличается от мировоззрения всех остальных авторов, которые высоко ценят свою голубую кровь.

«Раз сидели мы, тоскуя, в редакции уже закрытой большевиками социалистической газеты «Власть Народа». И один из членов редакции вдруг обратился к нам:

— А помните ли вы, господа, городового? Помните ли вы этого скромного труженика, который за какие то сорок рублей в месяц и днем и ночью охранял наш с вами покой? И с семьей ухитрялся жить на эти гроши... Когда нужно, обмерзал на посту, когда нужно, погибал от пули... Помните вы его?

— Помним... — отозвались голоса смущенно.

— А помните ли вы, как звали мы его за все это?

— Помним... Фараоном.

— А как, господа, по совести: ведь стыдно?

— Немножко стыдно... — сознался кто-то.

— Ну, слава богу, хоть немножко...

Этот сочный красочный рассказ, эта патетическая тоска о городовом, эти демократические слезы в жилет околодочного, эта трепетная лирика полицейского

участка — взяты из книги И. Ф. Наживина: «Что же нам делать?»

Удивительная это книжка! С горестным чувством будет изучать эти страницы будущий историк, который захочет понять наше смутное время, маленькую и сморщенную душу испуганного интеллигента, опустошенную душу оставшегося в стороне от путей истины современника.

Книга Ив. Наживина имеет право на внимание, раньше всего, в качестве человеческого документа. Ив. Наживин «сам из мужиков», среди мужиков в деревне жил, и в том, что касается жизни деревни, ее неведомого звериного быта, — тут Ив. Наживину и книги в руки. Здесь он знаток, он эксперт и специалист.

— Каменданты... камиссары... камитеты... каперация... Всех бы вас, дьяволов, облить карасином, да зажечь со всех четырех концов...

Ясно и четко глядят со страниц книги все эти наживинские мужики, мечтающие о «хозяине».

«Теперь надо такого поставить, чтобы в Питере кулаком стучал; а вся Расея чтобы тряслась бы.

— Где же нам такого взять? Такого нету.

— А Михайла?

— Михайла не такой... Этот стучать не сможет.

— Чего не сможет? За милую душу сможет. Больно бы хорош по нашему. Ты в Питер едешь, так и скажи там, что владимирские мужики желают, мол, Михайлу — и никаких гвоздей».

Когда о «хозяине», о царе, который должен так в Питере кулаком стучать, «чтобы вся Россия тряслась бы», говорят «мужики» («федеративные республиканцы», — ехидно называет их все время автор), — это не удивляет. Еще бы. «Были мы, — об'ясняет И. Наживин, — кулаками, были мы барышниками, были мы подрядчиками, всем, чем угодно, — только не были мы ни социалистами, ни революционерами».

Но ведь сам-то, сам И. Наживин, он ведь и социалистом был, и революционером был. Он ведь интеллигент,

а не мужик. Что же он то, что он лично, в душе своей вынес от своего житья в деревне? Как он отвечает на вопрос, указанный в заглавии его книги: «Что же нам делать»?

Деревня, — уверяет он, — осталась неизменной. Она равна самой себе. И если на 18-е апреля назначен «праздник пролетариата», 1-е мая, — то в деревне, по свидетельству Ив. Наживина, горячо обсуждается, какой это святой новый об'явился, и надо ли зажигать лампадку перед иконами? «Зрело обсудив все, лампадку зажгли, и эта лампадка, зажженная во владимирской деревушке, накануне праздника мирового пролетариата, — как нельзя лучше освещáет сущность нашей деревенско-российской революции».

Деревня равна самой себе. Озверелая, сбитая с толку, темная, она, по Наживину, только и вынесла из этих лет свободы «тюки керенок», и еще жадность, характерно-спекулятивную жадность.

— Иду это я по деревне, — рассказывает Ив. Наживин, — и смотрю: у дома Николки Чуркина собрались и что то смеются мужики.

— Чему вы это, земляки, радуетесь?

— А вот толкуем промежду себя, как мы городских то доехали... Идешь это теперь по базару-то с четвертью молока, к примеру, а за тобой бабенки, стервы, прямо толпой: прода-ай, дяденька!.. У иной, веришь ли, инда слезы на глазах...

— А детишки эт-та, детишки так и мрут, словно вот мухи. Прямо на кладбище таскать не успевают.

Но чем безрадостнее, чем жутче правда о темной, зверино-жадной деревне, какую рассказывает Наживин, тем нетерпеливее кидаешься к тем главам, какие посвящены интеллигенции.

«В тишине угрюмых, нетопленных комнаток, на голодный желудок, под постоянным страхом издевательства, унижения, гибели начался пересмотр всех наших прежних ценностей» — торжественно сообщает Ив. Наживин: «Собирались мы, бывшие эс-эры, эс-деки,

интернационалисты, толстовцы, эн-эсы, анархисты и говорили. И удивительны были эти новые речи».

Внимательно и взволнованно ищу в книге Наживина, — каковы же они, эти «новые и удивительные» речи?

«Я ходил по старым соборам, и вся наша история развертывалась предо мной. И над гробницей Иоанна Грозного, как и в былые дни, горела «неугасимая», и лежали на тарелочке трудовые гроши: в Москве до сих пор существует предание, что если постигнет тебя тяжелое горе, — хорошо помолиться тогда в тишине у могилы Грозного царя. И глядя на тихую лампаду, казалось мне, что это русская душа, душа России теплится тут, под старыми сводами».

До чего характерно! Именно к гробнице, к гробнице Иоанна Грозного влечется смятенная и запуганная душа. И не к Александру II, и не к Петру Великому даже, а именно к Иоанну Грозному. Нужно, ведь, «чтобы ен в Питере кулаком стучал, а вся Россия тряслась-бы».

И как убедительно, какими жалостными словами умеет Ив. Наживин об'яснить, оправдать свою тоску о городовом, свою околодочную лирику.

«Выход из тупика, в который мы зашли, — только назад, — убежденно вещает он: нужно умерить свои запросы к жизни и радостно, и покорно принять от нее то, что она может дать. Скромность — великая добродетель!».

Вот они «новые речи», новые «удивительные» слова. До чего трогательно, однако, повторяют эти новые слова — восьмидесятые годы с их проповедью «малых дел», с возгласами о том, что «наше время не время широких задач».

Ив. Наживин подробно рассказывает о некоем мужичке в старой ситцевой рубахе, которого он видел в Москве — на подмостках у памятника Александра III. «Рабоче-крестьянская власть издала декрет об уничтожении памятников, и вот сидит этот гугнивый, «самый обыкновенный» мужиченка на памятнике и равнодуш-

нейшим образом «тюкает» молоточком по голове царя: корону старается отбить.

«Во всей фигуре мужиченки видно одно: полное равнодушие к тому, что он делает. Это для него только поденная или сдельная работа. Приказало начальство,— он и тюкает».

Когда в книге Ив. Наживина читаешь страницы, посвященные вопросу «Что же нам делать?», — до галлюцинации ясно видишь ту же картину. Ив. Наживин так же точно взобрался на памятник и равнодушнейшим образом тюкает своим пером вместо молоточка по голове царя. Он, Ив. Наживин, храни бог, не ломает, не отбивает короны. Напротив того, он старается приладить, пристроить новую корону. Но делает это до того вяло, до того равнодушно, словно и впрямь поденную работу отбывает.

Какая унылая, какая жалостная идеология у этого, призывающего к «скромности», типичнейшего из запуганных интеллигентов.

«Пришлось мне познакомиться — рассказывает он — с одним агрономом, в судьбе которого было что-то пророческое». Кончив курс, этот агроном поступил в земство и стал «разводить революцию». Дело шло довольно плохо и кончилось тем, что мужички переломали ему ребра. И вот, лежа долгие недели в больнице, агроном этот переродился, поправился и с тех пор забыл обо всяких идеях, и стал заниматься только своей специальностью. «И с этого момента он стал нужен деревне», — поучительно об'ясняет автор.

«Этот битый агроном — уверяет Ив. Наживин — символ всей революции битой русской интеллигенции. Как и он, мы провалились с нашими программами благоденствия всечеловеческого, и с этим нам к народу выйти уже нельзя. Но мы будем нужны ему как агрономы, как промышленники, как инженеры на строго деловую работу»...

Большевики, измыслившие «спецов», должны бы восторженно приветствовать Ив. Наживина.

Чего лучше! «Скромность», «покорность» и «строго деловая работа», без всяких идей и идеалов. «Ежели ты пожарный, — лезь, сукин сын, на каланчу», — излагает такую же программу один из героев Горького. Идеология, принципы — все это оказывается ни к чему, все только вредный предрассудок!

И как же старательно и сладострастно сдаются все старые либеральные позиции в этом стремлении к скромности.

Греховна оказывается сплошь вся русская литература...—Как смел Гоголь оплевывать чиновников Сквозников-Дмухановских и помещиков Собакевичей. «Как смел он просмотреть Андрея Болконского, погибшего за Россию под Бородиным? Ведь, это тоже помещик!».

А дальше... дальше уж легко. «Раз мы начали пересматривать нашу идеологию, мы должны выдвинуть в литературе не тех, кто ловчее освистывал Россию, а тех, кто, вскрывая тихую красоту ее, учил нас любить ее и, ценя других, все же ставить ее, как немец свою Германию, превыше всего».

«Вот поднять бы из могилы покойного Ляксандру третьего, взял бы он метлу какую погрязнее, да всех по шеям».

В этой идеологии есть одно неоспоримое достоинство — откровенность. Призывы Ив. Наживина и этим достоинством не отличаются. Он пламенно зовет назад, со слезой вспоминает о городовом, трогательно умиляется у гробницы Иоанна Грозного, любовно вспоминает о заслугах Романовых («наша ненависть ко всей романовщине» нелепа»), но в книге «Так что же нам делать?» еще точек над і почему то не ставит.

Республика или монархия нужна его лысой душе?

Вот разогнали матросы Учредительное Собрание, и в этом «огромная, неоспоримая заслуга большевиков перед родиной» — пишет Ив. Наживин.

Значит ли это, что и в дальнейшем ничего, кроме грязной метлы Ляксандры третьего, так-таки и не нужно России.

Ведь вон даже в деревне темные мужики, по свидетельству Ив. Наживина, разобрались в азбуке республиканского строя. «Они понимают уже, что республика — это, когда царь, — вроде как староста, выборный. Хорош, — ходи еще год, плох, — по шапке».

Но если это понимают уже и в деревне, то как же, каким образом забыла об этом смущенная и запуганная лысая душа интеллигента?

Чем трагичнее эпоха, чем мучительнее разочарования, — тем больше нужны гордость и уважение к себе подлинному интеллигенту. «Желаем, мол, Михайлу — и никаких гвоздей». Это, конечно, скромно и покорно, но это ли нужно России?

И какая же дряблая, какая запуганная, сморщенная и воистину лысая душа нужна для того, чтобы теперь, в эти переломные, в эти решающие дни звать нас снова всего только к скромности и покорности, и к мохнатой шапке спасителя городового!

Но И. Ф. Наживин — «сын мужика» — дрябл и беспомощен даже и в этих призывах своих. После книги «Так что же нам делать?» он успел издать еще более густо-монархические «Записки о революции», но сразу же после этого взялся за книги иного тона и иных устремлений «Среди потухших маяков» и «Накануне».

Здесь он, как мы увидим, бьет отбой по всей линии и уверяет, что его не так поняли, что он отрекается от гимна «боже, царя храни». Белое движение было, оказывается, обреченным с самого начала: «Молодежь погибала, а генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, и тылы спекулировали на крови и похабничали».

До чего неожиданные слова в устах только что восхвалявшего «тихую красоту» царской России.

«Я с отвращением ушел из отжившего мира монархистов», — рассказывает о новой, самой последней, смене своих убеждений Ив. Наживин: «Монархисты невежественны, они злы, они жадны... Творческих сил у них нет, а на нагайке и петле далеко не уедешь».

Вся политика российских монархистов — глупая и грязная политика, — взывает теперь Ив. Наживин:

«Боже мой, сколько этой глупой и грязной политики видели мы за годы изгнания, политики тех бывших людей, которым еще раз хочется выскочить на подмостки истории, еще раз хочется взять в свои руки судьбы той России, которую они так легкомысленно и так преступно погубили!

Мы читали своими глазами письма к президенту американской республики, чтобы он дал нам американский флот для производства монархического дессанта на юге России.

Мы слышали мечты выживших из ума реставраторов, которым хочется оживить все наше былое гнилье, и все ошибки, и все преступления — до опричников включительно!

Мы видели, как в Рейхенхалле шесть шталмейстеров, два безработных генерала, десять огорченных помещиков, пять гвардейцев и три барыни хотели подменить собой Великую Россию».

Мы всмотримся еще в то, как именно совершилась эта характерная историческая эволюция в душе Ив. Наживина. Но теперь нам важно отметить только резкие очертания явления. До чего неустойчив и колеблем ветром оказывается этот «мужицкий сын», пожелавший было очутиться своим в среде подлинных представителей голубой крови.

Куда ж ему, И. Ф. Наживину, сравняться хотя бы с зеленым юношей, юнкером А. Вонсяцким, автором книги «Записки монархиста». Вот это воистину цельный, из одной глыбы, монолитный герой.

Пусть другие виляют, стесняются и скрывают, стараясь показать только казовый конец своих монархических убеждений. Юнкер А. Вонсяцкий — один из немногих в среде авторов «Белых мемуаров», кто с гордостью рассказывает все, как есть.

И от этого бесхитростные рассказы А. Вонсяцкого производят такое исключительно сильное впечатление.

Он, как-будто, даже не ведает, что творит, этот юноша. Ни один, самый лютый противник монархизма не мог бы и нарочно придумать ничего ошеломительнее той подлинной правды, какую в простоте души рассказал в своих записках этот пылкий монархист.

* * *

Книга А. Вонсяцкого, вызвавшая очень много толков, как это сообщалось в эмигрантской печати, была куплена крупным издательством для опубликования ее не только на русском, но еще и на иностранных языках. Но — характерно! — на рынке эта книга так и не появилась. Кому то показалось более удобным застраховать лагерь монархистов от взрыва этой бомбы. Книга пропала. В распоряжении историка осталась только одна глава «Записок монархиста», опубликованная в № 363 «Последних Новостей» П. Н. Милюкова (Париж, 24 июня, 1921).

Впрочем, и одной этой главы достаточно, чтобы оценить по достоинству этот человеческий документ.

А. Вонсяцкий приводит полностью все имена действующих лиц, точно указывает, где и когда происходили события. — Чего, в самом деле, в своем отечестве стесняться?

Вот он, А. Вонсяцкий, молодой юнкер, живущий в Ялте в белые дни, тщательно побрился, набриолинил голову и закончил маникюр. Уже восемь часов. Время итти в кафе Раввэ, где его ждут товарищи по полку. Надо обсудить, кого именно из подозреваемых в сочувствии большевикам надо «угробить» сегодня ночью.

В кафе за столиком оказываются высокие гости.

«Замечаю за одним из столиков в углу молоденькую, красивую даму и двух молодых людей в штатском. Они — не обыкновенные люди. Это видно по их благородным царским лицам... Я подхожу к столику, где сидят эти трое. За три шага до столика, вытянувшись в струнку, с поднятой рукой к козырьку и глазами, обра-

щенными к даме, останавливаюсь и спрашиваю разрешения:

— Ваше высочество, разрешите остаться?

Ее высочество, княгиня Ирина Александровна, едва заметным наклонением своей царственной головки милостиво разрешает...

Рядом сидевший с ее высочеством, его высочество князь Федор Александрович покраснел, сидевший напротив него молодой князь Юсупов улыбался.

Отчетливый поворот, звон шпор, и я подхожу к столику своего офицерства».

«Свое офицерство» ждет от А. Вонсяцкого агентурных сведений о том, кто из жертв на очереди для сегодняшней ночи, но А. Вонсяцкий, оказывается, увлекся думою о высоких особах:

«За нашим столиком воцарилось молчание... Все ждали от меня сведений. Но я отвлекся совершенно другим... Сейчас я думал о них. Как любил я их, как хотел, как мечтал отдать, положить за них жизнь. Почему они, мелькало в моем уме, ничего не предпринимают, почему они молчат: ведь таких, как я, много... Покажи, скажи хоть одно слово, и мы пойдем на все, на смерть! Нужно убить Троцкого, Ленина — убьем; нужно взорвать Исполком — взорвем; итти в рядах на бой — пойдем!.. За них — Романовых... Каждый раз, когда из «нагана» я разбивал череп красноармейца, я думал одно: я мщу этому проклятому рабу за то, что он поднял руку на своего господина...

Кликни только, и сейчас вокруг твоего царственного имени соберемся мы. Нас будет немного, но мы будем сильны, сильны духом.

Среди нас не будет дезертиров, не будет изменников, не будет «ловчил». Мы все будем рваться вперед с единым желанием умереть за тебя. И как легко, как приятно будет умереть, зная, за что умираешь... Пусть девять десятых нас погибнет, лишь бы ты царствовал. На нашей крови ты должен строить свое благополучие. Ты наш господин, повелитель, а мы —мы твои рабы.

Прикажи, и мы разорвем на части наших братьев, отцов, не подчиняющихся твоей, единой и священной воле!»

Впрочем, идеалы — идеалами, а живая жизнь не ждет. Дело делать надо. Кого сегодня убивать будем,— спрашивают коллеги. Что же это за идеалы, ежели они не претворяются в жизнь:

«Ну, Алик, говори же, наконец. Есть ли что-нибудь?

Я очнулся. Сейчас предстоит многое...

— Да... Некий Зеленский...

— Его социальное положение? — спрашивает Каракановский...

— Присяжный поверенный, какой-то...

И вот наспех за столиком кафэ выносятся пачками смертные приговоры.

— Сегодня предлагаю ликвидировать Иванова.

— Что это за личность? — интересуется Мейер.

— Бывший красноармеец, живет в Аутке, у отца.

— Согласны? — спрашивает Мейер.

— Что за вопрос? — бурчит Накашидзе: — ну, следующий!..

— Донченко, комиссар Массандровского и Ливадийских имений... Ярый сторонник советской власти. Живет в Массандре.

— Социальное положение?

— Бывший фельдшер...

— Угробить, — бурчит Немирович. — Дальше...».

Занятие, — А. Вонсяцкий не скрывает этого, — не только веселое, но еще и прибыльное. Когда кафе закрывается, и надо итти на работу, выясняется и основной вопрос: — Как сегодняшние жертвы, с икрой?

«Надо Димку сюда... Алик пойди, приведи Димку...

Я встаю, подхожу к столику мадам Раввэ, целую ручку. Несколько комплиментов, а затем незаметно шопотом передаю Димке...

— Слушай, Дима, тебя все ждут, прощайся скорее.

— Разве есть что-нибудь? — спрашивает также тихо меня Крыштофович.

— Да.

— С икрой?

— Не знаю. Сегодня — нет. Завтра наверное...».

Двенадцатый час ночи. «Свое офицерство» в резиновых плащах с надвинутыми на глаза фуражками уже «выкинулось» из кафе, и идет по безлюдным улицам Ялты искать Иванова, подозреваемого в том, что он служил в Красной Армии.

Вскоре подошли к нужному месту. Все столпились у ворот невзрачного двух-этажного домика.

— Стучи, Вонсяцкий, — приказывает Немирович.

Раздается стук. Тишина... На второй стук за дверьми раздается шлепанье туфель и вопрос: «Кто там»?

— Свои, открывай!..

Дверь открывается, и нашим взорам предстоит пожилой мужчина в нижнем белье.

— Что угодно?..

— Здесь живет Иванов?..

— Я самый, что прикажете?..

— Ах, это, значит, ты! Где твой сын?..

— Сын, сын мой, — растерялся старик.

В трех маленьких каморках ютилась вся семья Ивановых. Все спали. На двух кроватях по двое детей. Все—девочки, старшей — лет четырнадцать... Не было только сына, который был виновен в том, что участвовал в расстрелах офицеров в Севастополе, а позже служил в красной армии.

— Что вам от него нужно? — с волнением спрашивает отец.

— Что нужно? — отвечает Мейер. — Тебе нет никакого дела! Ложись-ка спать, а мы его подождем... Плохо ты смотрел за ним.

В это время мать упала перед Немировичем на колени и стала клясться, что сын ни в чем не виновен».

Но мольбы матери безнадежны. Уже приставлен револьвер ко лбу сына.

«Ну, прощайся со своими».

Захваченного ведут веселой гурьбой к морю.

— Кто сегодня будет действовать?

— Кто спустится к морю? — спрашиваю я.

— Если хочешь, вали ты с Бичо...

— Хорошо...

— Мы пойдем переодеваться, а вы скорее: мы вас будем ждать.

— Товарищи, вы меня куда ведете, — жалобным голосом спрашивает красноармеец.

— Какие мы тебе товарищи, скотина!..

— Ступай вперед собака... и пикни мне хоть слово, — пригрозил маузером Бичо...

Накашидзе остановился и подал мне знак, но я его остановил:

— Погоди, — и, дернув за рукав красноармейца, сказал: — помолись!..

Злыми глазами взглянул он в последний раз на нас и, оскалив зубы, произнес. — Все равно, — это ведь меня не спасет!..

— Не хочешь, не надо. Сдыхай, собакой... И вслед затем, как молния, две вспышки осветили берег и раздалось два выстрела.

Обе пули попали в голову, и череп разлетелся в куски.

— Эх .... — выругался Бичо: — погляди!..

Куски мозга попали на грудь и рукав макинтоша Накашидзе...

— Ну, чорт с ним. Идем!..

Мы побрели назад.

Сила и значение «Записок монархиста» в исключительной, примитивно-дикарской, первозданной какой-то исключительности автора.

А. В. Вонсяцкий чужд даже молодечества. Он не скрывает, что ему было «даже (!) жалко» убитого им человека.

«На душе оставалось какое-то плохое чувство... Мучила совесть. Стало даже жалко его. Боролись два чувства: одно — жалость к нему; — она говорила, что это было слишком жестоко, укоряла; другое — твердило, что он вполне заслужил это, что так надо... Мы подошли к ожидавшим нас нашим друзьям.

— Ну, как, — все благополучно? Теперь дуем в «Таверну»...

Но засиживаться в «Таверне» не приходится. Дело зовет: «ликвидация местного большевизма в Ялте».

На очереди теперь все тот же Зеленский-Хесман, «присяжный поверенный какой-то».

«Свое офицерство» — на бульваре. Кругом гуляют влюбленные парочки.

«Чорт знает, что!.. Мне, Димка, надоело ждать.

— Алик, смотри, это они.

Тот, кого звали Димой, был никто иной, как корнет Крыштофович, другой, называвшийся Аликом — был юнкер Вонсяцкий, автор этих воспоминаний... И ждали они, как читатели могут понять, прочитав предыдущие строки, некоего Хесмана (Зеленского), который около получаса тому назад прошел по бульвару с дамой. За ним следили. Он сидел с дамой у Раввэ, затем вышел с ней очевидно с намерением проводить ее домой».

Охотники — настороже, дичь уже показалась. Зеленский со своей дамой идут по аллее Пушкинского бульвара мимо той скамеечки, на которой его ждут Крыштофович и Вонсяцкий.

«В нескольких шагах за ними шли трое в плащах: Мейер, Накашидзе, Каракановский. Вот они поровнялись с нами; Каракан садится с нами.

— Нужно действовать сейчас. По всей вероятности, они пройдутся еще раз, он пойдет ее провожать и, кто знает, м. б., останется у нее ночевать, — вполголоса говорит Каракан. — Сейчас, когда они повернут, вы подходите. Действуйте решительно, чтобы никаких криков, скандалов!..

— Но как же: вместе с бабой? — недоумевает Крыштофович.

— Ни черта, ее тоже за компанию!..».

План кампании разработан до деталей. Диспозиция составлена. — За дело, с богом!

«Ну, Димка, не робей, ты с ее стороны, а я слева. Ходу!

Мы вскочили, и широкими, но медленными шагами направились навстречу им. Вот они на расстоянии нескольких шагов; я вижу его неспокойное лицо, как будто предчувствующее, что что-то должно произойти... Мы расходимся, пропускаем их между собой, затем резкий поворот и... Хесман чувствует, что кто-то хватает его за левую руку... Невольный поворот головы, и висок ударяется о холодное дуло «нагана». Он невольно поворачивает голову вправо, в сторону своей дамы и видит направленный на него «кольт»...

— Тс!.. Ни слова! Вы арестованы! Следуйте за нами!

Он пробует оглянуться назад как бы ища спасения, но видит новые две фигуры, в таких же костюмах с направленными на него револьверами. Спасения нет... Дама издает легкий крик, но в тот же момент «маузер» Накашидзе приближается к ее лицу.

— Мадам, если вы произнесете хоть одно слово, я должен буду вас застрелить».

Победа на фронте Пушкинского бульвара одержана воистину блестяще. Остается только полностью использовать ее плоды:

«— Куда вы меня ведете? — в отчаянии проговорил Хесман, когда его вталкивали на извозчика.

— В Ливадию!..

Арестованный понял свое безвыходное положение. Из Ливадии никто не возвращался!».

С потрясающей смелостью описывает А. Вонсяцкий эту знаменитую Ливадию и комнату № 8, в которой производились допросы, комнату, ставшую «исторической», по терминологии автора:

«Арестованный долго молчал, не произнося ни слова. Державший в руке шомпол полк. Крат подскочил и ударил им изо всей силы комиссара по лицу.

— Жидовская морда, будешь ты отвечать или особых приглашений ждешь?

По побелевшему лицу текла кровь, но он молчал. Несколько минут шла безмолвная сцена; раздавался

лишь хлест шомполов, то об голову, то об спину или плечи комиссара. Слышались отдельные выкрики:

— Сволочь, негодяй, скотина! И вслед за ними: ой, ой, ой!.. Наконец виновный, потеряв силу, упал на пол и закричал: — «Пощадите»!

— Массон! жидомассон! сознайся, что массон!..

И острие штыка стало входить в мягкую часть ноги. Кровь брызнула фонтаном, и комиссар начал кричать. Крики его раздавались по всему громадному зданию... Несколько офицеров не вытерпели этой сцены и криков пытаемого и, заткнув уши, поспешили выйти. Некоторые из офицеров даже пробовали оттянуть обезумевших в припадке злости, Скасырского, Хомутова, Пиленкина, но в ответ на них обрушилась брань.

— Убирайтесь вон, не мешайте!.. Эта сволочь могла втыкать нашим братьям-офицерам в раны окурки папирос, и с ней еще церемониться?

Штык влезал все глубже и глубже. Пытаемый орал из последних сил.

— Сознайся, что ты жидо-массон!..

— Сознаюсь... — наконец не вытерпел и каким-то неистовым, скорее похожим на рев какого-то зверя, голосом, закричал Хесман. Штык был засунут более, чем наполовину, и конец его выходил из-за ноги...

— Что за крики, — крикнул поручик Пиленкин, и схватил одну из рук пытаемого. — У него нервы есть? Сукин сын! Я ему покажу нервы! Нашего брата расстреливал, скот! Подержи, Вонсяцкий, руку: скотина ревет еще.

И вслед затем, иголки, одна за другой, были Пиленкиным воткнуты под ноготь пытаемому. Он издал еще несколько ужасных криков и потерял сознание.

Мне сделалось нехорошо, и я вышел. В ушах звенел его отчаяннейший крик. Полумертвого его потащили в парк, к морю.

Спустя два дня, море выкинуло у Ялты человеческий труп, весь изрезанный, исколотый. Лица невозможно было разобрать».

А. Вонсяцкий не думает стесняться, или скрывать, что бы то ни было. Он — монархист, и он гордится этой своей деятельностью. «Случаи» с Зеленским-Хесманом, или обвинявшемся в службе в красной армии Ивановым, не единичны — подчеркивает автор мемуаров:

«Начавшаяся ликвидация местного большевизма в Ялте, группою офицеров, находящихся в Ливадии, взволновала всех причастных к нему. Все, у кого только было рыльце в пуху, поспешили куда-нибудь скрыться, спрятаться. Каждый день море выбрасывало по одному или несколько трупов у берегов Ялты. Каждую ночь исчезали люди из Ялты или ее окрестностей, и потом родственники исчезнувшего старались обнаружить его в утопленнике».

И обо всем этом, как и об избиениях шомполами и вкалывании иголок под ногти — А. Вонсяцкий рассказывает все тем же спокойным, эпическим тоном.

Он — монархист, и он свято выполняет свою программу, всего только. Пусть даже его судьба — умереть на этом посту. Что ж такое? И в момент смерти он будет неизменен, будет возносить к небу все те же молитвы за Романовых, будет думать все о том же:

«Я бесконечно счастлив, что сегодня на том свете я смогу встать во фронт его величеству».

Где же сравняться с этой выдержкой и неизменностью белой кости — истерическому черносотенству переменчивого, неустойчивого «мужицкого сына» Ив. Наживина.

III.

Эволюция „мужицкого сына“.

В первые годы после революции Ив. Наживин, и правда, играл видную роль в белом стане. Его книга «Так что же нам делать?» была книгой пионера.

Другие еще только соображают, что хорошо бы мол к околодочному надзирателю вернуться, лестно бы всех евреев иностранцами об'явить, приятно бы «боже, царя храни» хором, истово таково спеть, — а Ив. Наживин уже тут как тут. Другие только про себя еще опасливо думают, а Ив. Наживин возьмет да вслух и громыхнет.

— Искренний человек, главная причина. Душа широкая опять же. Что у другого на душе, — у Ив. Наживина на языке. Его не испугаешь. В толстовцах сколько времени служил, человек легкий...

Воистину, если бы Ив. Наживина не было, его надо было бы выдумать для нынешнего момента. Кем только ни был он, в каких только лагерях не фигурировал.

И во все времена, и на всех позициях всегда оставался специалистом по «исповеди», по подоплеке, по нутру, по этакой своеобразной российской искренности.

Поскольку дело касается мемуаров И. Ф. Наживина — здесь, как мы видели, нет и помина о той твердокаменной неизменности, огнеупорной последовательности, какие мы проследили у А. Вонсяцкого, неиз-

менности типичной не только для него, но и для всех составителей белых мемуаров.

И. Ф. Наживин, напротив того, начал, как мы видели, с тоски по городовом. «Путь назад—наше единственное спасение» — вот тезисы, старательно доказываемые им в первых его книгах в эмиграции «Так что же нам делать?» и «Записки о революции».

Но на этом И. Ф. Наживин не остановился.

После падения Врангеля ему становится ясно, что само по себе громкое пение «боже, царя храни» — еще России не спасает.

Нужна, оказывается, еще и некоторая культура. Это стремление внести культурность в монархическую работу породило изданный г. И. Ф. Наживиным в Берлине сборник «Детинец».

Весь сборник проникнут стремлением перевести на новые рельсы монархическую деятельность.

Гг. монархисты решили подтянуться, подчиститься и отремонтировать заново свою идеологию. Не все же «намыленная веревка» гг. Сувориных и выстрелы убившего В. Д. Набокова Шабельского-Борка. Не все же одни лишь призывы к погрому жидов в исступленных романах Ив. Родионова и Щербачева, и «Приказы по армии» ген. Кутепова, и совершенно сумасшедшие «научные исследования» о массонстве Гр. Бостунича-Шварца с доказательствами, что Керенский — жид и массон, и Ленин — жид и массон, и вся Россия — жиды и массоны. Пришли новые времена, и до очевидности ясно, что нужны новые песни. Как никак, Европа смотрит...

И вот, извлечены на свет божий все парадные мундиры, мобилизованы и под корень истрачены все запасы культуры и благородства.

Получившийся в результате этой мобилизации монархический сборник «Детинец», изданный в Берлине, надо отдать справедливость составителям, производит, и вправду, впечатление совершенно необычной для гг. монархистов грамотности, носит отпечаток известной литературности и культуры.

Но до чего все-таки специфична эта культурность кавалерийско-монархического образца!

Автор, скрывшийся за псевдонимом «Рейхенхаллец» как будто вполне логично указывает своим коллегам по Рейхенхалльскому с'езду на то, что «воєхваления старой монархии за последние годы — дело бесплодное, потому что мы все слишком хорошо помним роковые ошибки и грехи ее». «Законного царя у России — нет, как это ни трагично, но лучше этого не скрывать».

Но эта дань, отданная здравому смыслу, не мешает своеобразности выводов. «Не бойтесь выбрать нового царя — убеждает культурный Рейхенхаллец: такой опыт в 1613-м году дал ведь «прекраснейшие результаты». «Не слушайте демагогов, которые иронизируют: — Что же это будет за царь, которого мы выберем из своих знакомых».

Хоть «из знакомых», хоть плохонький, только бы царь! — убеждает этот, помнящий все грехи Романовых Рейхенхаллец.

Такого рода двойственность, европейский и азиатский лик неизменно проявляются во всех произведениях сборника.

Г. Ив. Наживин, напр., считает благовременным заступиться за «жидов»:

«Как только мы сделаем какую-нибудь глупость или гадость, мы кричим: жид виноват! проморгали, наприм., Россию (очаровательно это «например»!) — виноваты, конечно, не мы, а какие то идиотские сионские мудрецы. Это малоопрятный трюк. А где же вы были, милые люди? Ведь евреев-то пять миллионов в России, а нас 150.000.000. Чего же вы спали? Повод сваливать свою вину на голову чужого дяди надо отнять раз навсегда, чтобы во всех своих глупостях и преступлениях мы приучились винить себя и в себе искать опору».

Но рядом с этими европейскими словами Ив. Наживин немедленно же «загибает» и азиатские: — Необходимо отстранить евреев от какого бы то ни было вме-

шательства в дела России. Все они иностранцы, и им нахальным Гольдштейнам и Розенблюмам нельзя давать никаких гражданских прав...

Если европейский тезис и азиатский антитезис кажутся слишком противоречащими друг другу, — то г. Ив. Наживина это не пугает. У него есть готовый синтез на этот случай:

«Недавно в одной неглупой компании (?) говорили о еврейском вопросе. И один из собеседников сказал:

— Господа! Да, ведь, все эти проекты теперь болтовня одна! Когда мы с вами вернемся в Россию, еврейский вопрос будет уже решен.

— Как? — спросил кто-то.

Тот только выразительно посмотрел на спрашивающего и у меня мурашки пробежали по спине: как это ни страшно, а кажется он был прав».

Особенно ценных результатов, таким образом, и не пытается обещать об'явленный гг. монархистами новый курс культурности. Азиатский лик мирно уживается с ярко рекламируемыми европейскими, будто бы, устремлениями.

Исходный пункт все тот же: «Батюшка-царь», хозяин земли русской. И в беллетристике сборника «Детинец» Ив. Наживин рисует все ту же идиллию:

«Бают, бытто за Волгой самого Миколая Лександровича видели. Это, вишь, нарочно, каторжные, слух-то пустили, что убили его. Жив бытто, батюшка! И вот тебе крест святой: только явись, все мужики подымутся, ветру дыхнуть на него не дадут, пылинке сесть не допустят, а не то что! И прямо так все в ноги и упадем: хошь казни, хошь милуй, пресветлое твое величество, — вот тебе наши дурьи головы, руби!».

Любопытна удивительная путаница, к какой приводит, да и не может не привести автора идейная позиция его. Злоба крайняя, безграничная злоба на все, что совершается на Руси — прорывается из каждой строки:

Основой является злоба против «четырех К» (совсем, как у императора Вильгельма):

— Камитеты, камиссары, каминданты, капирация... Облить всех, дьяволов, карасином (пятое К!), да и поджечь. Погоди, дай срок, зададим сволочам по талону, да по купону, да по карточке!

Говорить о художественности при такого рода заданиях, — конечно, не приходится. Но откуда все же, откуда эта изумительная грубость стиля и приемов у гг. правых беллетристов, почему именно оглоблей, а не шпагой потрясают даже в беллетристике гг. монархисты?

Мы видели, как пылко и проникновенно говорил Ив. Наживин о «тихой красоте России» в своей книге «Так что же нам делать?» Во имя этой вот тихой красоты он развенчал всю русскую литературу, все классики которой только и делали, что позорили Россию:

«Как смел Гоголь оплевывать чиновников Сквозников-Дмухановских и помещиков Собакевичей!». Долой тех писателей, кто «ловчее освистывал Россию», нужны иные, кто «вскрывают тихую красоту ее»...

Любопытно всмотреться, как, какими чертами рисует «тихую красоту России» сам И. Ф. Наживин после того, как он укрепился в лагере монархистов.

Неужели не шокирует пылких патриотов такая, например, сцена на крестьянской свадьбе в рассказе их признанного премьера монархического певца, г. Ив. Наживина:

— Свести что ль дружков? — говорит сторожу Егору и его жене, грудастой Аришке сваха Маринка: — свести что ль? Уж так то ли жить будете, ай люли-малина. Средства простая, ну только чижолая. Надо все, что полагается по супружецки, при всех изделать.

— Так что я завсегда готов. Охулки на себя не положим, — говорит под общий хохот пирующих гостей Егор.

Аришку мяли, толкали, повалили на грязный пол и толкнули к ней криво улыбавшегося бледного Егора... Среди визга мелькнули под горящими зеленым огнем глазами белые, голые женские ноги. Егор, сопя, неуклюже возился над Аришкой.

Казалось бы, что этого достаточно и реализм живой картины доведен до крайности. Но г. Ив. Наживину этого мало. «Вперед и выше» стремится он по избранному пути.

Сваха Марина кружилась, притоптывая и подпевая над супругами и, сама себя не помня, схватила со стола большой чайник и в экстазе стала поливать из него пару на полу.

И вдруг резкий крик боли. Супруги вскочили с пола и яростно набросились на Марину.

— Стерва, сволочь! — хрипло кричал Егор, подтягивая свалившиеся штаны. — Лахудра! Ты изувечить нас хотела... Я тебя в порошок сотру.

Аришка, гладя ляшки, мучительно стонала и плакала.

В чайнике оказался кипяток.

И как будто желая подчеркнуть, что это не исключение, что все окружающие, весь народ именно таков (Ив. Наживин умеет любить Россию!), автор заставляет всех присутствующих весело хохотать при этой кошмарной сцене:

«Мужики, бабы, молодежь, старики хватались за животы, перегибались, захлебывались смехом, давились, всплескивали руками и ржали, ржали исступленно: «Кипятком! Да по притчинному месту! Ай-да Маринка! Вот так свела!».

«Как смел Гоголь оплевывать Сквозников-Дмухановских и Собакевичей?! Как смела литература русская не заметить тихой красоты России?!»

Впрочем, И. Ф. Наживин не остановился на изобретенных им странных способах воспевания тихой красоты России. Его эволюция пошла дальше, продолжается и в настоящее время.

Стоит вспомнить биографию этого «мужицкого сына» и его литературное прошлое, чтобы притти к убеждению, что эволюция И. Ф. Наживина, и вообще то, никогда не закончится. Как, каким образом ушел он из стана монархистов?

Иван Наживин счел благовременным выступить в берлинском журнале «Русская Книга» проф. А. С. Ященко с особым манифестом в отделе «Писатели о себе» (№ 5, 1922 г.).

Ив. Наживин дает здесь не столько биографию, сколько исповедь и покаяние. Да, он все эти годы был с монархистами, его «подкупила прекрасная молодежь, которая беззаветно красиво гибла тысячами за родину и за царя-спасителя».

Но теперь, с сегодняшнего дня, он жжет все, чему поклонялся, и — смотрите, люди добрые! — вот как он, Ив. Наживин, бия себя в перси, поклоняется тому, что сжигал: «Россия должна вся с головы до ног быть новой». «Молодежь погибала, а генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекулировали на крови и похабничали». Таковы отныне и навсегда взгляды Ив. Наживина.

— Я люблю вас вечной любовью, люблю давно, еще с прошлой пятницы, — как об'ясняются в любви гимназисты четвертого класса.

Ах, сколько раз уж каялся и исповедывался, и «сжигал все, чему поклонялся» и «поклонялся всему, что сжигал», и всенародно бил себя в перси, и посыпал голову пеплом, — этот странный «сын мужика» Ив. Наживин. Был он в свое время, давно, и убежденнейшим анархистом и пламеннейшим толстовцем, и аскетическим вегетерианцем, и настойчивым либералом, и закоснелым непротивленцем, и горячим монархистом, и злобным антисемитом. И все это со слезой, с наскоку, с пылу и жару, и во всем доходил он до крайности, и в каждом лагере успевал за три месяца написать четыре тома рассказов и два романа и, по крайней мере, одну исповедь. А потом — снова всенародное покаяние, и новый перелом, и поворот стрелки на 180 градусов, и новые четыре тома, новые романы, новая исповедь и покаяние.

Искренен ли он хоть в одной из этих многоразличных перемен своих? Я думаю, что по-своему он искре-

нен всегда и во всем. Так нервная дамочка с птичьей головой, вернувшись со свидания с очередным любовником к мужу, совершенно искренно возмущается:

— Неужели ты можешь меня ревновать? Как тебе не стыдно! Какая я несчастная!

Ив. Наживин, конечно, искренен, когда теперь возглашает: «Я настойчиво, из последних сил, кричу: с крайней правой на Россию идет страшная опасность. Но никто не слушает и не понимает меня». Но этот тон — «никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна», — кажется юмористическим, когда Ив. Наживин с сеьезным лицом говорит, что и в прошлом он, видите ли, был пай мальчиком. Среди монархистов он был, уверяет он, белой вороной: «Цель моей работы — была одна: благо России. Цель всех этих бездарных «Двухглавых орлов» и прочей макулатуры — реставрация былого гнилья». Ив. Наживин полным голосом пел «боже, царя храни», но... «Ни одной минуты не думал я о реставрации нашего старого позора и безумия».

У читателя, мало-мальски знакомого с литературной деятельностью Ив. Наживина за последние годы, эти утверждения не могут вызвать ничего, кроме улыбки. Со времени выхода книги «Так что же нам делать?» Ив. Наживин выпустил добрый десяток книг, прославлявших монархию и героизм городового, и вредоносность жидов.

Какова же оказалась теперь новая идейная позиция этого истерического писателя?

Беру в руки новую, самоновейшую книгу его «Среди потухших маяков» (из записок беженца), и внимательно вчитываюсь.

Что именно сжег и чему стал ныне поклоняться этот стремительно эволюционирующий «мужицкий сын»?

Найти ответ на эти вопросы в книге мудрено. Здесь не идеология, а цифры на первом плане. Как-будто не писатель, а какой то кающийся бухгалтер дарит нас очередною исповедью своею:

«Благодаря резкому падению курса рубля, — наши 150 тысяч рублей превратились в 20 тысяч здешних крон, которых моей семье хватает лишь на 4—5 месяцев» (стр. 147).

«Получилось сто франков от детского журнала «Зеленая Палочка»—находка!» «Получил за воспоминания о Толстом 7 тысяч крон, и от болгарских издателей, вошедших в мое беженское положение еще 1000 левов, — благодать!» (стр. 181).

Книга Ив. Наживина является исповедью. По плану автора, она должна передать все биения его писательского духа, потрясенного коренной переменой его убеждений. Но — не странно ли? — вместо исповеди у этого кающегося монархиста получилось что-то вроде приходо-расходной книжки.

«От американского фонда помощи получил ссуду в максимальном размере 3000 марок» (стр. 153).

«Получил из Калифорнии 10 фунтов чудесного американского сахару».

«Представитель русского Красного Креста в Вене К. П. Шабельский достает для нас у американцев несколько штук белья — спасибо». «И. А. Бунин выхлопатывает мне семьсот франков» (стр. 182).

Сахар, белье, кроны, марки, франки... Что там, веревочка? Давай сюда и веревочку! И все время жалостный тон нищего на паперти и снова, и снова деликатные напоминания: — у меня ведь шестеро на шее!

Талант в деле добывания сахара, белья и денег, г. Ив. Наживин, судя по его исповеди, проявляет воистину не заурядный! «Обратился в земский союз с просьбой о ссуде» (стр. 147). «Путем отбитых на машинке воззваний, стал искать компаньонов, пайщиков, для моего издательства» (стр. 182). «На приглашение монархических организаций пожаловать на с'езд в Рейхенхаль — я ответил согласием тем более, что деньги на дорогу мне дала организация» (стр. 183).

По собственным словам г. Ив. Наживина, он с семьей «обеспечен на 4—5 месяцев вперед». Зачем нужно ему,

в таком случае, это нищенское собирание сахару, о котором он считает необходимым рассказывать в своей книге всему миру?

Даже старика К. П. Крамаржа не пощадил, оказывается, этот предприимчивый беженец. «К. П. Крамарж серьезно помог мне, дав мне в займы порядочную сумму, взяв однако с меня расписку, что деньги эти пойдут не на русское книгопечатание, а исключительно на нужды моей семьи. Вот, что сделала моя черносотенная репутация в революционной Европе»! (Стр. 153).

Описывая свои беженские скитания, г. Ив. Наживин рассказывает о своей встрече в Белграде с г. И. А. Буниным: «Иван Алексеевич страшно нервничал и капризничал: сербы не дали ему квартиры — жаловался он,— наш посол В. Н. Штрандман принял его в передней, на ходу, но всех лучше отличился князь Г. Н. Трубецкой, который деликатно осведомился у Ивана Алексеевича:

— А вы, собственно, чем занимаетесь?

— Да так, знаете, пописываю, — сердито ответил Бунин. — Стишки там разные и все такое» (стр. 33).

Чем занимается сам-то г. Ив. Наживин, спрашивать не приходится. — Это и без расспросов совершенно ясно. Он занимается заниманием денег.

При всей занимательности этого занятия, нельзя понять все-же, почему его приходо-расходная книжка должна считаться исповедью писателя?

Он, Ив. Наживин, если и был ярым монархистом,— то теперь он понял, видите ли, что справа — «аппетиты акулы, бездарность полета и злоба аспида» и молниеносно раскаялся. Каковы-же сейчас его убеждения? «Эмиграция — это сплошной кабак», уверяет он. «Революция — насквозь безграмотна и нестерпимо подла. Монархисты — озверелые идиоты и подлецы. Европа— насквозь гнилая и обреченная».

— Что же ты любишь, дитя маловерное? Этот вопрос так и остается без ответа в исповеди Ив. Наживина. Все на свете отвратительно. Верхи и низы одинаково разлагаются. Справа и слева одинаковая гниль.

Европа и Россия одинаково безнадежны. Интеллигенция и народ одинаково обречены. Социализм и монархизм одинаково преступны.. «Души людей — это каторжники, это царство безбрежного ужаса, мрачные зловонные притоны, в которых Иуда шепчется с разбойником Варравой о том, как получить поскорее тридцать серебренников, и пойти на ночку к Марии Магдалине».

Вся вселенная — это гнойное болото, в котором копошатся гады. И только один Ив. Наживин в белоснежном хитоне стоит на высокой горе и держит в руках американский сахар и американское белье, и всенародно считает и пересчитывает добытые кроны, марки и франки.

Но ведь не недостаточным же количеством этих марок и франков об'ясняется, в самом деле, эта тоска по России, о которой он столько говорит.

Теперь кающийся Наживин заканчивает свою очередную исповедь словами: «Страшно хочется домой, в Россию, в самую дикую глушь». Было бы грешно не поверить искренности этих наболевших слов.

Но для такой амнистии Ив. Наживин, очевидно, не дозрел. Он только и видит в наши дни «разложение культурных и некультурных русских кругов неимоверное. И старые, и новые боги умерли, и люди изверились во всем, и не знают, куда итти. И это есть самое страшное. Все оподлели и все обессилили».

— Я проклинал старый режим, погубивший великую страну, но проклинал я и жестокий, бессмысленный, безграмотный, насквозь проплеванный бунт, — такова нынешняя позиция Ив. Наживина.

Это — безнадежный путь, путь тупика, и напрасно мечтает Ив. Наживин, идя по этому пути, притти домой в Россию. Ноющие, проклинающие, злобствующие, — России не нужны! Во все времена люди старые и отжившие, люди злобные и желчные именно так по-старчески, повторяли: «Бывали хуже времена, да не было подлей». Так говорили и в шестидесятые, и восьмидесятые годы, и после революции 1905 года. И во все времена это

брюзжание было ложью, вредной и пошлой выдумкой. От поколения к поколению все лучше и справедливее, умнее и наряднее делается жизнь на земле. Кто из-за испытаний текущего дня не видит основной правды исторического процесса, тот духовно мертв и безнадежен.

В частности, в том, что касается России — надо понять, что никогда, за целые тысячелетия своей истории, Россия не была ближе к расцвету, к вольной, сытной, достойной и свободной человеческой жизни, чем именно теперь, в эти годы тягчайших испытаний.

«Что за дело до брюзжащих, до трусливо уходящих, и до всех старух шипящих, отзывающих назад!».

Пока Ив. Наживин на месте старой Руси видит только «царство Хама» и не замечает ничего иного в эти годы, когда в кровавых муках рождается новая жизнь на Руси, — до тех пор этот кающийся эмигрант не нужен России, как не нужна в сущности ему Россия.

Было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы роды представляли собой не кровавый и мучительный процесс, а что-то эфирное, поэтическое, вроде поцелуя при луне. Но живая жизнь знает свои законы и не справляется у Ив. Наживина.

Тяжелое, мучительное дело рождение и одного ребенка на земле. И в тысячу крат более кровавое и мучительное испытание — рождение новой России. Но, да будет стыдно тому, кто ничего, кроме крови и муки не усмотрит в таинстве рождения и с презрением и брезгливостью отнесется к матери, корчащейся в родильных муках.

IV.

Святые души.

После подлой, звериной жестокости бравого монархиста А. Вонсяцкого, после извилистой истерической эволюции «мужицкого сына» Ив. Наживина — хочется отдохнуть на чем-нибудь лирическом и возвышенном.

Этакой возвышающей душу и освежающей лирики — среди «Белых мемуаров» хоть отбавляй.

Вот пред нами три внушительных тома г-жи Н. А. Лаппо-Данилевской, посвященные революции, «Развалу» армии и «Крушению» России.

До чего очаровательно здесь все от первой строки до последней:

«Струны сердца тонко вибрировали» (349). «Интонация ее от внутренних порывов вибрировала» (71). «Нервы ее в этот вечер вибрировали» (159). «Все существо ее вибрировало» (186). «Она чувствовала вибрацию каждого своего нерва» (164).

По началу это меня несколько раздражало. Два тома, почти тысяча страниц убористого текста, а герои и героини только и знают, — как на жаловании, — вибрируют и вибрируют.

Я понимаю: дамское творчество имеет свои законы. Отчего же и не быть этакой особой будуарной эстетики. Если в меру, я согласен: вибрируй, милая, на доброе здоровье.

Но нельзя же вибрировать без конца и краю! И я с радостью прочел в романе о том, что героиня «решила начать новую тактику» (204). Ну, думаю, может легче будет. Но «новая тактика» эта — увы! — свелась сразу же к тому, что героиня «попросила вина» и «поджала под себя ногу».

Этим, очевидно, не спастись от вибрирующей гениальности книги.

Тогда, чтоб облегчить себе труд чтения, я сам с собою затеял игру. — А вот любопытно, — задумал я, — есть ли в этой дамской книге «аккорды»? Оказалось есть, да еще и сколько! «Ее пальцы взяли несколько аккордов» (179). «Это был радостный и торжественный аккорд природы» (273). «Из под ее пальцев рванулись бурные аккорды» (334). А интересно: волосы, которые бы «обрамляли» лоб, в этой книге есть? Ну, еще бы. «В Греции все есть». Не просто волосы, а «крепированные» волосы обрамляют героиню. «Ее голова была обрамлена волосами» (107). «Волосы стремились стать ореолом вокруг бледного лба» (105).

Эта игра с собой очень облегчила дело. Я без злости примирился с героем, который не только имел «привычку ласково доминировать», но еще и «был аффектирован в стиле красавца» (4) и с героиней, которая «выполняла роль педали, которую нажимали те, кому нужна была протекция» (74). Я простил г-же Н. Лаппо-Данилевской и сообщения о «царственной и могучей красоте природы» (14), и князя, «в душе которого подымались и опускались какие-то волны» (111), и героиню, которая «казалась холодной, словно мрамор» (295).

Каждый, в конце концов, вибрирует чем может. Но, когда успокоенный насчет того, что г-жа Лаппо-Данилевская не посрамила ни А. Вербицкой, ни Е. Нагродской, ни Ильиной-Полторацкой, я хотел было отбросить книгу, но вдруг наткнулся на несколько неожиданных строк: «Я вспоминаю слова генерала Брусилова на совещании временного правительства» (93).

— Позвольте, сударыня, при чем же тут Брусилов? Пусть «вибрируют» струны вашего сердца, пусть ваши волосы «обрамляют лоб, а тонкие пальцы берут аккорды». Пользуйтесь вашей «новой тактикой», и поднимайте правую ногу. Но зачем впутывать в это дело старого боевого генерала. Но г-жу Лаппо-Данилевскую не убедить.. Она стоит на своей позиции прочно. «Над (?) деловым строительством России благоговели наши деды» (116). Она, г-жа Лаппо-Данилевская, не может допустить ни «Развала», ни «Крушения».

Книги этой писательницы не просто вибрируют. Они целиком посвящены, не более и не менее, как войне и революции. «Суживая горизонты, вы мельчаете ваше я» (85), — сказано в романе.

И когда вы читаете здесь о герое, который добивается «всецелой власти» (24), что «красивый с матовым цветом лица, он был одет с утонченной заботливостью» (20), — вы не должны забывать, что речь идет не о вымышленном герое, а именно о министре А. Д. Протопопове. Тут и Брусилов, тут и Духонин, тут и М. В. Родзянко. Серьезную книгу революционную предлагает нашему вниманию писательница. Это не будуарное чириканье, а своего рода «Война и Мир», зеркало эпохи предстоит изумленному взору современника.

* * *

Героиня романа — исключительна. «Вы — адски-интересная женщина» (197) — восклицают потрясенные поклонники. «Она очень сильная натура и у ней много индивидуальности» (331). Она «умна» и даже «действительно умна», она «очень талантлива» (236), она «известность», — говорят о ней современники.

Зовут ее, конечно, Вероника. Не Матреной же звать это совершенство.

«Вы наша знаменитость!» (262) восклицают при встрече с ней «почитатели ее таланта». «Ее творчество

возвышает ее над толпой» (229). «Все хвалят ее творчество (106), даже на улице, незнакомые» (276).

«У нее прекрасные волосы цвета коричневой бронзы» (6). «Глаза у нее зеленые, бездонные и загадочные» (28). Тело у нее «красивое» (32). «В стройных линиях ее тела притягивающая грация» (170). «Она избалована быстрыми и верными успехами у мужчин» (32). «Она носит в себе гармонию и радость сознательного бытия» (40).

— Вы всегда такая светлая! В вас живет какой-то светлый и теплый луч! (201) — восклицают все окружающие.

И как странно, что при всем обилии этих рекомендаций автора, уверяющего, что героиня умна, талантлива, очаровательна и обаятельна, — на всем протяжении романа эта героиня, если говорить откровенно, ведет себя дура-дурой.

Это, конечно, не имеет отношения к элементам мемуарности, но, не проникнув в тайны психологии, не понять полностью и той оценки революции, какую так изумительно ярко дает гениальный автор.

Нас уверяли, напр., что героиня избалована «быстрыми и верными успехами у мужчин». Но вот две любовных истории из ее жизни поведал нам автор, г-жа Лаппо-Данилевская, и в обоих историях и следа нет от этой победоносности.

Герой № 1, князь Смуров, «картавящий с природным пафосом» встретил героиню в вагоне. Познакомившись здесь со своей спутницей, он возжелал здесь же, в купэ, добиться «гармоничного разрешения аккордов» (опять аккорды!), ибо ему «нужно было ее тело, которое он отгадывал красивым» (32).

Но, когда героиня пожелала отложить это самое до более комфортной обстановки, — князь Смуров, как оказалось, передумал и отказался. Вот не желает, и все тут.

И когда героиня, после долгих телефонных приставаний, добилась, наконец, визита князя, он и тут оказался неумолим.

Сцена в будуаре героини — увы! — кончилась впустую. «На ее испуганный вопрос: — Но ведь вы не уйдете... так?..», — он ответил холодно: «я ухожу!» (74).

Дело осталось без последствий. Когда героиня пытается подарить князю эмалевую пудреницу на память, гордый князь и на это не идет.

«Я никогда не был и не буду рабом чужих желаний. Вы хотите навязать мне вашу волю. Я ее определенно отвергаю» (42).

Так и вернулась эмалевая пудреница к очаровательной героине.

— Скажите мне откровенно, князь, вы можете страдать? — спрашивает она.

— Да, я могу страдать, — ответил князь (232), но от сближения с героиней резко уклонился.

Также мало утешителен оказался и роман № 2, описанный г-жей Н. Лаппо-Данилевской с другим героем, некиим Асташевым «в безукоризненном смокинге и лакированных туфлях» (76).

— Любовь, страсть, этих слов нет в моем диксионере, — заявляет он героине: — Только разврат, классический разврат, рассчитанный и неограниченный никакими предрассудками (81) — больше ничего не может он предложить нашей обаятельной героине.

Она, впрочем, оказывается не гордая, и довольствуется тем, что нашлось на складе. И вот уже на столе «пачка фотографий», перевязанных пунцовой лентой... — Ах, какое безобразие, ах, какой цинизм! (стр. 84) — ахают дамы.

— А если мы вас, Асташев, попросим при нас раздеться совершенно? — спрашивает спутница героини.

— Сделайте одолжение, — пожал плечами Асташев, небрежно перебрасывая монокль: — Я готов раздеться. И даже — больше... Хотя желающих так много, что я установил запись в очередь (90).

Фигурировать в очереди, — это победа еще не бог весть какая.

— Я хотел бы знать, развратны ли вы? — «в лоб» спрашивает героиню Асташев.

— Я не хочу названий и марок моим страстям, — отвечает Вероника.

Единственное, чего удалось добиться нашей очаровательной героине от Асташева — это проявление своеобразной манеры ухаживать. Он режет ее руку стилетом и пьет ее кровь (253).

— Я садист утонченного калибра. Я люблю тело мертвецов и кровь живых людей, — об'ясняет ей этот партнер.

Где же та изумительная «победоносность» над мужчинами, какую неосмотрительно обещала нам г-жа Лаппо-Данилевская. Ее и в помине нет. И закрадывается тяжелое сомнение: быть может и в остальных показаниях напутал автор? Может быть, и вправду, героиня вовсе не так умна и прекрасна, не так очаровательна и знаменита, как нас уверяют? И может быть неудача героини у князя Смурова и странная удача у Асташева — еще не доказывают ни «Развала», ни «Крушения» армии?

* * *

Будем справедливы. Амурными неудачами героини вовсе не исчерпывается идейное содержание увесистых романов г-жи Лаппо-Данилевской.

Ее героиня только и делает, что ездит с одного фронта на другой, только и говорит, что о войне и о революции.

Уже с описаний 1916 года явственно звучат «Развал» и «Крушение». «Все так печально, все так неудачно складывается для бедной России. При дворе приемов нет» (333).

Вот они гримасы войны, ужасы современности по Лаппо-Данилевской. «Уклад нашей жизни становится абсолютно невозможным: закрытие ресторанов к одиннадцати прямо-таки удручает меня» (97).

Эти тяжелые испытания, в связи с амурными неудачами, заставляют героиню приступить к изучению военной среды au fond. По началу, ее впечатления кажутся, правда, чуточку странными.

У солдата, как оказывается, «ясно обрисовывается пышный бюст» (129). Но ведь солдат не кормилица. Он, в некотором роде, мужчина, — удивляется читатель. Но описания продолжаются в том же стиле: солдатская фигура — «на тоненьких ножках, в туфельках на французском каблучке» (131).

Только фактическая справка о том, что это солдаты из отряда Марии Бочкаревой, — успокаивает читателя. По данным автора, «пышный бюст» вовсе не мешает солдатской психологии.

Так напр., сама Мария Бочкарева на страницах романа говорит: «Я, знаете, рабочим такое слово отпустила, военного образца, что они рты раскрыли! Как обругала их по нашему, по военному, они и поняли, что не на таковскую напали, и хвост поджали» (133).

Если так мужественны у г-жи Лаппо-Данилевской женщины-солдаты, — то за то мужчины воины у нее до странного женственны.

Брусилов, напр., бегает к зеркалу, моет руки одеколоном и старательно приглаживает щеточкой усы, готовясь к встрече с героиней Лаппо-Данилевской (137). Когда появляется Вероника «в высоких белых лаковых ботинках, ловко обтягивавших узкую стройную ногу, в черной шелковой юбке и белой батистовой блузке», Брусилов «острым сощуренным взглядом окинул стройный, изящный силуэт ее», и на угрюмом лице его немедленно «скользнула улыбка» (142). Мало того: «визит этой гостьи ему приятен» до такой степени, что даже за обедом, при всех, — вы подумайте!— он затевает с ней особый, «слегка игривый разговор» (стр. 144).

А генерал Духонин, «очень красивый брюнет» (180), тот, будто бы, совсем голову потерял и, как ни занят, все в гости к героине бегает, и так конфузится, что

Веронике приходится подбодрять робеющего перед ней застенчивого главнокомандующего (стр. 268).

Итак, перед нами материалы исторического мемуарного характера.

Пока г-жа Лаппо-Данилевская рассказывала нам о каких-то князе Смурове и Асташеве в безукоризненном смокинге, — мы имели право прощать ей странный, чтобы не сказать пошлый, тон. Но ген. Брусилов, ген. Духонин, ген. Корнилов и др., о которых она говорит столь же развязно, — это уж как будто обязывает. Правда, Духонин и Корнилов покойники, но ведь это еще не причина, чтобы беззастенчиво лгать и передавать их игривые разговоры.

— И словечка лжи нет... Все, как есть правда! — заявляет, как бы предчувствуя будущие упреки, автор.

«Этот роман-хроника — изображает подлинные переживания России, — заявляет г-жа Н. Лаппо-Данилевская в предисловии: — кроме романтической фабулы, здесь нет ни одного слова вымысла. Я была свидетельницей или участницей всего изложенного, включая и события на фронте, где я провела три месяца в 1917 г.».

Это заявление автора — является воистину сенсационным. Как, все эти описания того, как она покоряла своим умом, своей красотой и талантами и Брусилова, и Духонина, не говоря о простых смертных, это все подлинная правда, здесь нет ни слова вымысла? И эта изумительная героиня, эта очаровательная Вероника,— это ни кто иной, как сама г-жа Лаппо-Данилевская?

Это она оказывается о себе пишет: «Вероника была выпукло-яркой, жизненной, обращающей на себя всеобщее внимание, фигурой. Ее особенностью была нежная, мягкая женственность, проявляющая себя в каждом движении изящной статной фигуры. Это притягивало к ней и пленяло» (29).

Это она, значит, себя описывает: «Небольшая голова, ловко посаженная на гибкой шее, довольно широкие округленные плечи, чистые линии бюста, боков и ног, большие глаза цвета морской волны и медно-ры-

жеватые «тициановские» волосы, делали Веронику лучше красавицы»: сменяющаяся игра подвижного лица, хранящего выражение внутренней гармонии, составляла его очарование» (30).

Впрочем, что говорить об «очаровании лица» и о «чистых линиях бюста и боков», если на всем протяжении романа, автор романа об этой героине, о самой себе, только и говорит, как о «знаменитости», как об умнице, красавице, и благословляет «свою творческую силу художника» (277), и заверяет читателей, что «фигура у нее стройная, поражающая строгим благородством линий» (83).

Ну и ну! Воистину золотые слова написала Н. Лаппо-Данилевская, когда заявила: «Жизнь многогранна, и переживания наши должны быть многогранны» (86).

Куда же еще многограннее. «Некуда!».

* * *

Эта божественная цыпка побывала, оказывается, на всех фронтах. «Если бы у меня не было имени, — скромно поясняет она: — то меня не пустили бы. Но все понимали, что я приехала не ради праздного любопытства. Тут такой богатый материал для творческой работы» (163).

«Материал» г-жа Лаппо-Данилевская собрала и, правда, очень много. Тут и паническое бегство армии, и Калущ с Тарнополем, и убийства с грабежами и погромами, и описание того, как разорвали «красивого брюнета» Духонина, и, многое, многое еще.

Но во что обратились все эти мучительные и трагические картины под бесстыжим будуарным пером этой красавицы. «Она взглянула в зеркало, отражавшее ее свежий легкий силуэт, и вся вибрирующая, радостная» (188), «придерживая край белого батистового платья над стройной ногой, обутой в венский белый лайковый ботинок» (189) — поспешила к фотографическому аппарату, чтобы сняться втроем, с ген. Алексеевым и

ген. Корниловым. Все-таки «генералы, боевая слава которых облетела Европу» (193). Зачем их обижать.

«Я не люблю выставляться (189), скромно говорит здесь же эта птичка: «Я никогда не помню, что я звезда» (183).

А как вдохновенно, рядом с Калущем и Тарнополем описывает эта «звезда» свои туалеты и формы своего тела: «Ее творчество возвышало ее над толпой» (229). «В ней все было гармонично, пластично и красиво... На обнаженной спине красиво обрисовывалась углубленная линия меж лопаток» (258).

Трудно простой улыбкой отделаться от этого бездонного моря альковной пошлости, куриной глупости и ноздревского бесстыдства.

Это не смешно, думается, а воистину страшно. Ведь г-жа Лаппо-Данилевская и ее Вероника не одиноки. Это не исключение, это — правило. Вербицкие, Нагродские, Лаппо-Данилевские, Ильины-Полторацкие... Их много. Они все, такие же. Не разобрать, не определить, где кончается одна и где начинается другая.

Хочется отделаться беззлобной шуткой Н. К. Михайловского: — Женщина писательница — это вроде кухарки за повара. Как будто бы и повар, а все-таки кухарка.

Но шутка не веселит и не утешает. Неужели это и впрямь не случайно? Неужели Вероника Лаппо-Данилевская, и вправду, типична, и таковы, именно таковы наши девушки и женщины, наши сестры, наши невесты и жены, а, если судить по портрету г-жи Лаппо-Данилевской, любезно приложенному к ее «Развалу«, — то и наши бабушки?!

* * *

Было бы грубой ошибкой думать, что святая душа, какую так явственно обнаруживает в каждой строке своей эта «Тургеневская девушка», г-жа Н. А. Лаппо-Данилевская является исключением.

Такого рода святых душ среди авторов «Белых мемуаров» очень много.

Вот, например, нововременский Борис Суворин. Он на «тургеневскую девушку», казалось бы, ни с какой стороны не похож. Но до чего же ярко и отчетливо выступает из под надетой им на себя маски пылкого патриота подлинная и всамделишная святая душа этого человека.

Перед нами не мемуары, а какой то «любимый ресторан» со всеми присущими ему специфическими запахами.

Так и рисуется пред глазами трактирный оркестрион.

Богатый оркестрион, пышный. В большом ли зале именитое купечество соберется, в отдельный ли кабинет клиент поинтеллигентнее заглянет, сейчас это хозяин половому мигнет, и заведут сразу машину.

И гудит, и шумит, и позванивает; богатая машина была, на весь город главная. Мелом бывало начистят, суконкой от старого биллиарда протрут, заблестит сразу, как жар горит, смотреть больно.

Ну, только с недостатком была. Ты ее на «Молитву девы» поставишь, а она один-другой оборот вала сделает, и вдруг зашипит, и на другое перейдет: «Маланья моя, лупоглазая...». Только-только «Боже, царя храни» заведешь, а она, как только до главного места дойдет: «царствуй на страх врагам, царствуй на славу нам», — так сразу и свихнется, и вдруг «Чижика» изобразит: «Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове...».

Мастера даже звали, иностранца Ивана Федорова.— Починить можешь? — Никак, говорит, ваше степенство, невозможно. Это уж, говорит, навсегда. Отсырела, потому что, машина. Сколько в нее одного пива, по пьяной лавочке, публика вылила, сами сообразите. В других местах, пообразованнее, — там и в рояль выльют, и в трубу в граммофонную. А у нас ведь все в одно место. В других местах и вина-то легкие льют, бордо

какое-нибудь, лафит, а у нас все больше сиволдай. Этакой марки никакая машина долго не выдержит, отсыреет.

— Как же быть-то?

— А что-ж такое? Публика темная, разве она разберет. И чижику, заместо гимна, рады будут. Не извольте беспокоиться. Для нашей губернии сойдет.

* * *

Книга Бориса Суворина называется: «За Родиной». Подзаголовок: «Героическая эпоха Добровольческой Армии».

Общий тон книги торжественный и патетический: «Мы знали и радость победы, и горечь тяжких разочарований...». Я хочу рассказать в этой книге «о том могучем духе, который царил в наших вождях и в их героической армии». Я обещаю дать «подлинные впечатления русского человека» об этой «удивительной эпопее», походе ген. Алексеева и ген. Корнилова.

Таковы совершенно определенные задания книги, выраженные в предисловии.

Но как странно отсырела творческая машина автора! Какие неожиданные переходы от одной арии к другой дает вал этого оркестриона:

«Кончилась четверть водки, ходили к какому-то портному за вином, опять пили, опять ходили к портному... Беседовали о походе и, боже мой, сколько мы выпили» (стр. 194), — удивляется автор.

На одной странице стиль воистину героический:

«Безумная чернь, предводительствуемая кучкой чуждых России захватчиков власти, воцарилась над нашей несчастной Родиной».

А на другой странице — по-иному:

«Я занял в конторе своей газеты несколько рублей и мы пошли их пропить в памятный мне кабачок, носивший название столицы первого пьяницы, патриарха-Ноя, «Арарат» (стр. 240).

Как же быть с этой разноголосицей, и какая же из арий настоящая?

Когда человек рассказывает о своих идеалах, о своих заслугах и вообще о самом себе, надо быть внимательным и осторожным.

Самым важным оказывается зачастую вовсе не то, что человек скажет, а то, о чем он проговорится.

Подлинной правдой оказывается именно то, что вырвалось нечаянно, без заранее обдуманного намерения и против воли, а вовсе не то, что сознательно хотел сказать в своей книге автор.

«Бог послал мне, русскому человеку, великое счастье разделить великие испытания, на которые позвали нас Алексеев и Корнилов» — в таких тонах сознательно рассказывает о героической эпохе, Бор. Суворин.

«Боже, какая радость! Через четверть часа я буду европейцем. Буду пить вино, а не скверную водку, да и ту не всегда» (стр. 193), — таковы случайные признания автора.

Какой тон искреннее, — это видно и без пояснений, «скверная водка, да и та не всегда...». До чего могут, однако, дойти ужасы гражданской войны! «Не тебе кланяюсь, а страданию твоему кланяюсь». Не книга, а пьяная вишня какая-то.

И в прозе водка, и в стихах водка:

Не даром сердца наши бьются
При звоне наполненных чар (стр. 175).

Даже в записных книжках, где Бор. Суворин наспех, во время похода, стенографически отмечает главнейшие, самые важные переживания, и там запись — «водка» (стр. 141). Даже в некрологе, посвященном памяти одного из павших героев, сказано: «Никто больше его не любил выпить и закусить» (стр. 176).

Дело житейское, и греха тут особенного нет. Отчего и не выпить во благовремени. Курица, говорят, и та пьет.

Но нельзя же так заполнять выпивкой книгу, посвященную «Героической эпохе». Надо ведь, и совесть, хоть какую ни на есть, хоть каторжную, да иметь.

«Мы жили спокойно. Ходили в церковь... Искали водку» (стр. 163). Под угрозой метр-д'отеля не дать мне вина, я перешел из общей залы любимого ресторана в кабинет» (стр. 8).

Эта атмосфера «любимого ресторана» насквозь пропитала всю книгу Бор. Суворина. И если Бор. Суворин описывает свою политическую встречу с Б. В. Савинковым («Скажите, Борис Викторович, почему вы, такой специалист этого дела, не организовали убийства Ленина с Троцким?»), — то эта встреча происходит не в ином месте, а именно в «памятном кабачке», в маленьком кавказском погребке «Арарат» в Новочеркасске (стр. 25), и никаких иных последствий, кроме кабацкого разговора, требующего большой водки, не имеет.

И когда Бор. Суворин вдохновенно рассказывает о крупнейшей своей политической победе в эпоху ген. Деникина (на чествовании вызванных Деникиным из Парижа С. Д. Сазонова и Нератова, хор грянул, подхваченное криками ура, «боже, царя храни»), то и эта блестящая победа нужна ему, как будто, только для того, чтобы лишний раз «чокнуться под звуки гимна» (стр. 223).

И от этого как-то не удивляет странное автобиографическое заявление Бор. Суворина: «Редакторы чаще всего бывают свиньи (я сам был редактором)» (стр. 238).

— Познай самого себя, — правильно учил еще Сократ.

* *

Большевики — хитрые. Может быть это они подкупили Бор. Суворина, и он «за героическое золото» так старательно топит в грязи «Героическую эпоху Добровольческой Армии?».

У него ведь не просто водка. Ему нужна водка с кровью, такой уж вкус странный у человека.

«О, великая госпожа — Война, что в тебе прекрасного, что так привлекает души... О, наш вождь на белом коне, дай нам, как милость, умереть за тебя» (стр. 61).

— Крови, Яго, крови, — без этого не может жить нововременский Отелло. «Все суждения досужих (!) людей о ненужной жестокости во время гражданской войны, — рассыпаются как пыль перед страшной действительностью».

«Первое время вид убитого своего же русского производил на меня гнетущее впечатление», — сознается Бор. Суворин, но «постепенно» ему «удалось примириться с жестокостями» (стр. 155).

— Он подрастет, на то испанец он.—И он охотно рассказывает о «жестокости и неумолимости» героической эпохи добровольчества. «Потери в бою неприятеля всегда во много раз (а иногда и в десятки раз) превышали наши потери» (стр. 154).

Какая радость, правда, что «наши» так удачно избивали русских. Носители белой мечты в книге Б. Суворина рассказывают о совершенных ими убийствах «просто, чтобы похвастаться». «Я знал молодых людей, которые спокойно перечисляли сколько человек они убили. Все это делалось с каким-то убийственным молодечеством, как охотник, хвастающийся количеством убитых волков...» (стр. 158).

Этот охотничий спорт знаком Бор. Суворину вовсе не понаслышке. Также развязно, как о ночных путешествиях к портному за водкой, он рассказывает и о том, как он лично охотился на человека.

«С каким удовольствием (!) старался я попасть в соотечественника» (стр. 76). «Эта охота на человека была, должен сознаться, необычайно увлекательна (!)» (стр. 77).

Во имя чего предавался этому «необычайно увлекательному» занятию г. Бор. Суворин со своими коллегами? Нужно же иметь какое-то «во имя» для такой охоты за человеком?

Но кроме любви к водке, в книге есть еще любовь к картам («едва ли есть игра, в которую я не играю»), есть любовь к лошадям («Где ты, мой кучер, мой милый хороший Иван!»), но идеологии нет никакой. Пой «боже, царя храни», а там видно будет.

Но если нет ничего внутри в этой пустой и лысой душе, может быть имеются об'ективные данные, какая-то база, люди, которые хотят именно этого героизма.

Но на вопрос о том, как относилось к Добровольческой армии население, — книга Бор. Суворина дает ответы подавляющие.

Идет с ними ли деревня? В крестьянскую хату, — рассказывает Бор. Суворин виденную им картину, — пришли несколько добровольцев. «Хозяйка хаты очень обрадовалась. Она приняла их за большевиков», — об'ясняет Б. Суворин. Баба усадила их, накормила. Недоразумение так бы и не выяснилось, но крестьянка «с гордостью похвасталась своим подвигом»: Накануне, оказывается, четыре добровольческих разведчика зашли к ней в хату, а она напоила их, и когда все заснули, сбегала, — как она сказала, — «к товарищам» и выдала их. «Вот, поглядите, они там в канаве так и валяются», — добавила она с гордостью.

Бабу немедленно после рассказа ее гости ведут на расстрел. Тут же и ее дети... «Когда баба поняла свою ошибку и увидела неминуемую гибель, она не пала духом и кричала: Ну, что же, мужа убили, меня убьете, убивайте и детей» (стр. 157).

Но если не деревня, то может быть город поддерживал этих охотников за черепами?

Увы! Бор. Суворин свидетельствует об ином: «Когда после взятия Ростова, армии понадобились деньги, то богатейший многомиллионный Ростов собрал что-то около тысячи рублей, а когда в Ростов вошли большевики, ростовцы на блюде поднесли им два миллиона» (стр. 21).

Но если не деревня, и не город, то может быть казачество сохранило прежние устои. Но и здесь та же кар-

тина. «Я не хочу никого осуждать, — говорит Б. Суворин. — Я только хочу подчеркнуть то холодное отношение, которое встретила наша армия» (стр. 23).

И, вообще, казачество в обрисовке г. Бор. Суворина это что-то кисельное, расплывчатое, бескостное.

Казачьи законодательные собрания не раз заканчивались пением, и хороший оратор на Кубани, Тереке и на Дону хорошо сделает, если сумеет пройтись «лезгинкой», или «казачком» (стр. 147). «Каждое, самое серьезное заседание можно сорвать песней» (стр. 227).

Правда, поют казаки хорошо, и если прибавить к этому лихие воинственные пляски, — то по свидетельству Бор. Суворина, «было бы отчего на пол-сезона свести Париж с ума», — но этого, ведь, еще не достаточно для оправдания кровопролитий.

Казачество не являлось базой белого движения. Когда во время заседания Войскового Круга в Новочеркасске, в Круг ворвались большевистские казаки, один из них, Голубов, вошедший в папахе и с нагайкой в руках, противодействия так и не встретил.

«Это что за сволочь?» — закричал он, ударив по пюпитру председателя: «Встать». Все встали, кроме атамана и председателя Волошинова» (стр. 41).

Чем, в самом деле, не учредительное собрание, с красавцем Виктором Черновым?

И, как будто, чтобы до конца убедить читателя, что «героическая эпоха Добровольческой Армии» уже с самого начала была авантюрой, не имевшей ни малейшей базы в чувствах и желаниях населения, Бор. Суворин добавляет подробности расстрела двух единственных не вставших в ответ на окрик «Встать, сволочи!» членов Круга.

«Председателя Круга, Волошинова, не сразу добили и бросили полуживого на окраине города. Придя в себя, истекая кровью, он нашел в себе силы доползти до первой хижины и умолял впустить к себе. Хозяйка сбегала за большевиками, донесла и его добили» (стр. 41).

* * *

Кровь — всегда кровь. Но когда кровь разбавляют водкой, когда в атмосферу ужасов гражданской войны вносят, как это делает Бор. Суворин, еще и запахи любимого ресторана, и цинично рассказывая о том, что «охота за человеком необычайно увлекательна», называют это «героической эпохой», — тогда это переходит пределы, и нет слов, какими можно бы говоритъ об этом неизмеримом растлении какой-то особой гусарской души, в которой нет ничего, кроме любимого ресторана.

V.

Как это делается?

В старые времена — это было понятно. Пока Витте на посту, — этот влюбленный во власть человек политиканствует, и борется, и интригует, и проводит друзей, и мстит врагам.

Но вот чьи-то происки победили, кто-то оказался хитрее, и по манию руки венценосца Витте в отставке. Что же еще делать ему на покое, — у себя ли в особняке или в его имении заграницей, — как не фрондировать и не писать мемуары?

Снова позовут Витте, и он опять окунется с головой в быт той раззолоченной ночлежки, которая правила Россией. Снова отставят, и он опять будет писать мемуары, и злорадно усмехаться, и сладострастно потирать руки, мечтая о том, как когда-нибудь после его смерти эти мемуары выйдут в свет; о том, как будет кусать губы от злости В. Н. Коковцов; о том, как он эффектно отомстил П. А. Столыпину и т. д., и т. п.

В старые времена вопрос «как это делается» был ясен и азбучен. Но теперь, но сейчас, в наши дни: как, в какой обстановке создаются все эти торопливо опубликовываемые томы мемуаров? С какими чувствами берутся за работу все эти генералы, все эти бывшие люди, проигравшие все, что у них было, и пытающиеся отыграться на белых мемуарах?

«Не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался», — учит простецкая мудрость народной поговорки.

Вот лежат предо мною три толстых книги «Очерков русской смуты» ген. А. И. Деникина. С какими чувствами, с какими мыслями взялся за эту несвойственную ему работу этот неудалый стратег?

От трясской таратайки — к щегольскому автомобилю, от допотопной сохи и примитивного плуга — к нарядному трактору, от медленной и унылой езды «на долгих» — к комфорту шнельцугов и экспрессов, как наглядно и ярко проявляются многоразличные завоевания культуры в наш век радия и авиации.

Но рядом с этими очевидными завоеваниями в области прикладной, технической, — как трудно, как мучительно трудно указать завоевания в области нравственной, моральной, в сфере духовной жизни человечества.

Таким простым и непререкаемым казалось всегда это старое и суровое правило, определяющее долг капитана на гибнущем корабле. — Капитан гибнет вместе со своим кораблем! И уж во всяком случае, он остается до последней минуты на своем посту, он уходит последним. Крысы — те бегут с корабля заблаговременно. Но капитан — он до последней секунды на своем месте.

Каким твердым и незыблемым казалось всегда это азбучное правило. Но в наши дни, когда перекроена заново карта земного шара, когда заново перестраиваются отношения классов, — перерождаются, очевидно, и моральные устои быта.

Капитаны более не гибнут вместе со своими кораблями. Они заблаговременно чуют бурю и задолго до кораблекрушения сходят с борта, направляясь в тихую пристань. И заботливо отыскав место, где тепло и не дует, они садятся писать свои мемуары.

Это, может быть, не так поэтично, как гибнуть на посту. Но за то это гораздо практичнее.

И потом: большая публика, «широкий» читатель, — он ведь так любит всякие воспоминания и мемуары.

* *

Не отделаться от мысли о том, что генерал А. И. Деникин еще задолго до оставления своего поста задумал свои мемуары, еще задолго до своего от'езда из России стал готовиться к литературной работе.

«Не взирая на трудность и неполноту работы в беженской обстановке: без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий, — решил я издать свои очерки», — сообщает генерал в предисловии к своей, в 1921-м году, в Брюсселе, начатой книге.

Но когда внимательно вчитываешься в эти «Очерки русской смуты», все яснее видишь, что кое-какие материалы ген. А. И. Деникин и в беженской обстановке сохранил, что не по памяти, а по документам, вплоть до вырезок из газет, написаны эти страницы. Неужели, в самом деле, заблаговременно готовились для будущих мемуаров эти эффектные цитаты:

«Эта революция — единственная в своем роде, писал в февральско-мартовские дни князь Евгений Трубецкой» — цитирует, напр., генерал: — бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские, но революции национальной в таком широком значении слова, как нынешняя, русская, доселе не было на свете. Все участвовали в этой революции, все ее делали — и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже дворянство... все вообще живые общественные силы страны. Только бы это об'единение сохранилось».

Как известно, «об'единение сохранилось» далеко не в полной мере. И какими поучительными кажутся теперь эти выразительные цитаты, щедро разбросанные в разных местах книги А. И. Деникина:

«Мы должны быть благодарными судьбе! — писал в «Новом Времени» М. О. Меньшиков. — Мы должны

быть благодарными судьбе, что тысячелетие изменявшая народу монархия, наконец, изменила и себе, и сама над собой поставила крест. Откапывать ее из под креста и заводить великий раздор о кандидатах на рухнувший престол — было бы по моему роковой ошибкой».

Этот неожиданный красный флаг, высоко поднятый над своей головой М. О. Меньшиковым, как известно, не спас его от предательского поступка «Нового Времени», вскорости отрекшегося от него, как от «слишком правого». Не спас этот защитный цвет М. О. Меньшикова и от расстрела, произведенного в 1918-м году Валдайским совдепом, в канцелярии которого служил последние месяцы своей жизни писатель.

Но для того времени этот алый флаг в руках М. О. Меньшикова был типичен и показателен, и удивляться ли, что, явившись в Петроград, в качестве знатного иностранца, Альбер Тома в приводимой А. И. Деникиным цитате так пламенно говорит о «самой солнечной, самой праздничной, самой бескровной русской революции».

Надо отдать справедливость генералу А. И. Деникину. Припрятанные и собранные в его книге цитаты в большинстве своем очень убедительны и эффектны.

Разве не поучительно, напр., теперь вчитаться в то, что писал тогда хотя бы В. Д. Набоков («Речь» 18 марта 1917 г.) об отмене смертной казни:

«Отрадное событие — признак истинного великодушия и проницательной мудрости... Смертная казнь отменена безусловно и навсегда!.. Наверное ни в одной стране нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал такой потрясающей силы, как у нас... Россия присоединилась к государствам, не знающим более стыда и позора судебных убийств»..

Цитату за цитатой добывает А. И. Деникин из своего обильного запаса.

«Министр Милюков вел спор с англичанами, требуя пропусков в Россию задержанных ими большевиков с Троцким во главе». «Министр Милюков неоднократно

заявлял, что «правительство признает безусловно возможным возвращение в Россию всех эмигрантов, без различия их взглядов на войну, и независимо от нахождения их в так наз. контрольных списках». (В контрольные списки вносились лица, заподозренные в сношениях с враждебными правительствами).

И когда в серии эмигрантов, встречаемых почетным караулом с музыкой, прибыл в Петербург Ленин, — тогда «кадетский оффициоз «Речь» почтил приезд его словами:

«Такой общепризнанный глава социалистической партии должен быть теперь на арене борьбы, и его прибытие в Россию, какого бы мнения ни держаться о его взглядах, можно приветствовать».

Он и теперь жив, он бессмертен интеллигент всероссийский. И какой благородной, какой беспроигрышной кажется на первый взгляд позиция генерала, собравшего все эти ехидные документы о подвигах интеллигента на Руси.

В начале мая 1917 г. была, как известно, утверждена А. Ф. Керенским знаменитая «Декларация прав солдата». Именно эта декларация, по мнению всех специалистов военного дела, ген. Алексеева, Брусилова, Щербачева, Драгомирова и пр., еще в большей степени, чем прославленный «Приказ № 1», сыграла решающую и роковую роль в деле «разложения и развала армии». «Декларация — последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии», — таков был ответ Ставки, куда был препровожден текст декларации на заключение ген. Алексееву и Деникину.

Декларация эта, как известно, отменяла отдание чести, отменяла дисциплинарную власть командного состава. Декларация окончательно подрывала все устои старой армии и об'являла ее «самой свободной в мире» армией, по определению А. Ф. Керенского.

После отзыва главнокомандующих о том, что декларация представляет собой «последний гвоздь в гроб армии», А. И. Гучков, как известно, сложил с себя

звание военного министра, отказался подписать декларацию и ушел в отставку, «не желая разделять ответственности за тот тяжелый грех, который творится в отношении родины».

При таких условиях, как же не считать эффектными такого рода цитаты, какими ныне щеголяет на страницах своей книги А. И. Деникин:

«Декларация дает каждому солдату возможность участвовать в политической жизни страны, — ликовал в номере от 11-го мая кадетский оффициоз «Речь». — Декларация окончательно раскрепощает солдата от оков старого режима, выводит его из затхлой атмосферы прежней казармы на свежий воздух свободы. Армии всех стран мира стоят вдали от политической жизни, тогда как русская армия становится первой армией, живущей всей полнотой политических прав».

И в тех же ликующих праздничных тонах выдержаны размышления о любви к отечеству и народной гордости, напечатанные по поводу «Декларации о правах солдата» в цитируемой А. И. Деникиным передовой статье «Нового Времени»:

«Знаменательный день! Сегодня великая армия могучей России стала действительной армией революции! Отношения воинов всех степеней отныне слагаются на общей основе — сознания долга, равно обязательном для каждого гражданина. И революционная армия обновленной России пойдет на великое испытание кровью — с верою в победу и мир».

Так писало в те неповторимые дни даже «Новое Время»! Удивляться-ли, что орган меньшевиков-интернационалистов, «Искра» Мартова, так увлеклась интернационализмом, что в самый день занятия немецким дессантом острова Эзеля напечатала статью под изумительным заглавием: «Привет германскому флоту!».

С грустным волнением читаешь все эти цитаты на страницах генеральских мемуаров. Да, он, конечно, во многом прав ген. Деникин. Много сказоч-

ного и необ'яснимого натворили все от мала до велика в те изумительные дни.

Но... неисповедимы, воистину, законы психологии человеческой. Что-то нестерпимо обидное есть в этих аккуратных вырезках из газет, заботливо сохраненных ген. А. И. Деникиным в эти дни, когда, казалось, «решалась», навсегда погибла залитая горячей кровью Россия.

Лучше бы уж марки почтовые, или какую иную коллекцию что-ли, собирал вместо цитат ген. Деникин!..

Очень поучительны и эффектны все эти приводимые ген. А. И. Деникиным в эти дни.

— Неужели и впрямь заблаговременно заготовил все эти вырезки «Главнокомандующий вооруженными силами юга России?» Неужто задолго до оставления своего поста, задолго до от'езда подготовлялся к писанию своих мемуаров этот «царь Антон»?

Неисповедимы законы психологии человеческой. Неужели, вправду, возможно и это? Двигались форсированным маршем войска, и брали Киев, и Харьков, и Орел, и Тулу, и гудели колокола, и служились молебствия, и собирались в близкую Москву, а главнокомандующий, генерал А. И. Деникин собирал вырезки из газет, готовясь к будущим мемуарам? А потом грянул гром, и покатилась назад к Ростову и Новороссийску, понеслась, губя и сметая все на пути, развалившаяся, погибшая армия, а генерал А. И. Деникин тщательно разбирал свою коллекцию вырезок и, аккуратно разложив по отдельным конвертикам, уехал в Брюссель, и трудолюбиво стал разбираться в материалах и готовить свои мемуары, очередные мемуары отставного генерала.

VI.

Отрава эмигрантщины.

Характернейшая черта белых мемуаров: их пишут в большинстве те, которые вовсе не должны бы писать, — генералы, помещики, — но не пишут те, от кого их ждешь в первую очередь — писатели.

Эмигрантские писатели — Ив. Бунин, Д. Мережковский, А. И. Куприн молчат. Они поражены тяжкой болезнью — бесплодием, и это кажется не случайным, а вполне естественным и закономерным.

Любовь несет творчество. Но ненависть и злоба бесплодны. От любви — рождаются дети. Но от злобы, от злости, от ненависти ничего не рождается кроме могилы. Злость и только злость — это тупик, это безнадежность.

«Дух творчества отлетел от меня, — писал, оказавшись эмигрантом, Леонид Андреев в опубликованном после его смерти письме из Финляндии к Н. Рериху («Русская Земля», Нью-Иорк): «Как кандалы волочу за собой большевика и тоску»...

«Прочтешь что-нибудь свое, старое и удивляешься: как это я мог? откуда приходило в голову?»... — пишет он из Финляндии Н. Рериху в те самые дни, когда хлопочет о визе для поездки на пост «министра пропаганды». «Все мои несчастия сводятся к одному: нет у меня дома» — так об'ясняет он это свое эмигрантство. «Был прежде маленький свой дом, был еще и большой

дом — Россия. Был и самый просторный дом мой: искусство, творчество. И все пропало! Нет дома, нет России, нет и творчества. Как кандалы, всюду волочу за собой большевика и тоску. Изгнанник трижды, из дома, из России, и из творчества, — я страшнее всего ощущаю для себя потерю последнего. Жутко, пусто и страшно мне без моего царства...».

До чего ярко сказывается эмигрант во всем духовном облике, во всей психике этого одинокого человека.

Быть может не найти более показательной фигуры, чем личность Леонида Андреева, для изучения психики эмигрантства, так убийственно ярко сказывающейся в белых мемуарах.

Воистину родился эмигрантом, а не сделался им Леонид Андреев.

Дело здесь вовсе не в политике той или иной окраски.

Вспоминаю свой разговор с Л. Н. Андреевым в первые дни после большевистского переворота, когда все в интеллигентских кругах были уверены, что это «на три недели», что к концу месяца будет восстановлен «нормальный порядок».

— Это ведь дело возраста, — говорил мне с улыбкой Леонид Николаевич в своем огромном кабинете в Райвольском доме. — Конечно, если б мне было шестнадцать, я был бы с ними, с большевиками. Но когда за спиной сорок — перевороты уже не кажутся так привлекательны.

Л. Н. «ошибся», как «ошиблись» и многие другие.

В области политики Леонид Николаевич ошибался еще чаще, чем иные.

Как горячо и нервно реагировал Л. Н. Андреев на так наз. «общественные вопросы». И война с германизмом «до победного конца», и «Русская Воля», к которой он относился так пламенно, и «Тебе, солдат!», и «S. O. S.», и борьба с большевиками во что бы то ни стало. Даже «министром пропаганды», как известно, хотел быть Леонид Андреев в последние свои годы, и

все писал об этом грустные письма истеричке — В. Л. Бурцеву.

Но дело не в политике. Эмигрантство — это гораздо глубже и страшнее, чем политика, та, или иная.

В «Книге о Леониде Андрееве» — в статье о нем Максима Горького, читаем о равнодушии Л. Андреева ко всякой политике:

«В существе духа своего, — говорит М. Горький, — Леонид Андреев был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней».

«Всякая общественность по существу была Андрееву чужда, — говорит и Георгий Чулков, который как и Горький, знал Леонида Николаевича около двадцати лет. — Он, пожалуй, сам не сознался бы в этом. Он кажется был уверен, что у него имеются какие то определенные мнения на этот счет. Но... самая тема общественности Леониду Андрееву была непонятна. Он мог говорить какие угодно хорошие слова о свободе, или о социальной справедливости, но все это для него было чужое, не волнующее кровно».

Как изумительно одинок был всю жизнь, еще задолго до революции этот, эмигрантом рожденный, человек!

«В комнате — масса людей, почти все писатели, много известных — описывает Ал. Блок: — но ни с кем не связан, и самый отделенный от всех, самый одинокий Л. Н. Андреев. Было в нем много Андреевых, но главный Леонид Андреев, который жил в Леониде Николаевиче, — был бесконечно одинок и несчастен».

И то же самое говорит и Григорий Чулков: «Он был всегда на людях, всегда с приятелями, но... не было более одинокого человека, оторвавшегося от почвы, и даже от мира, чем этот удачливый беллетрист, обласканный Максимом Горьким и признанный Н. К. Михайловским»... «В литературе он был также бесприютен и одинок, как и в жизни. Везде он был случайным гостем. Своего литературного круга у него не было. Внутренно он ни с кем не был связан».

«Здорово я тут один...» — пишет о себе самом Л. Андреев в письме с о. Капри Бор. Зайцеву. — Города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое... Если бы немногие, кого я люблю, вдруг умерли бы, или забыли меня — я завыл бы от ужаса и одиночества...»

Как жутко было Леониду Андрееву, оказавшемуся в белом стане — чувствовать себя эмигрантом, оторванным от России не только физически, но и духовно.

«В свое время — вспоминает М. Горький революционные дни 1905 года: — в квартире Андреева происходили заседания Ц. К. социал-демократов большевиков, и однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму».

Вышел из тюрьмы, после месяца отсидки «за большевизм» Л. Н. Андреев, как оказывается, — «бодрый, веселый». — Оживает Россия! — говорил он тогда.

Но вот большевизм у власти, и Л. Н. Андреев, как и вся интеллигенция в те дни — в ужасе и отчаянии — погибла Россия!

— У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций тоже, — говорит Андреев. — Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак. Наша родина свернула сюда, и долго будет жить распивочно и на вынос.

Былинные богатыри, стоило им прикоснуться к матери сырой земле, обретали новые силы. В наши дни наблюдается иной процесс. Стоит отвернуться от родной земли, малодушно потерять веру в Россию, и гибнут, бесследно пропадают силы духа.

Леонид Андреев ярко и четко сознавал симптомы роковой болезни, бесплодия.

И если Леонид Андреев в последних письмах своих жалуется, что «дух творчества отлетел от него» («как кандалы волочу за собой большевика и тоску»), — то он не одинок. Так же бесплодны и безнадежны оказались отвернувшиеся от России И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, Б. В. Савинков и многие, многие еще...

Оторваться от родной земли, от России — это значит загубить в себе все главное и значительное.

И судьба Леонида Андреева, который так и не дождался новой и настоящей эпохи примирения, — кажется тяжелым уроком в наши дни. Эта унылая мучительная смерть на чужбине — является серьезным предостережением.

Теперь странно вспомнить, как прочно пристала было к Леониду Андрееву злая формула ревнивого Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно».

Какой горькой, воистину эмигрантской смертью умер Андреев. На моем столе лежит вышедшая в Нью-Иорке книга «Русская Земля». Читаю и перечитываю «Воспоминания» М. К. Иорданской, ближайшей свидетельницы последних минут писателя. Эта глухая финляндская деревушка с постоянными налетами большевистских аэропланов и непрерывной канонадой... Эти письма, какие привозили Андрееву беженцы от его сестры, застрявшей в России: «Спаси моих детей и меня от голодной смерти... Возьми меня к себе, дорогой брат... Умираем!!!», эти тяжелые и унизительные хлопоты о «визе» (так и умер Леонид Николаевич, не дождавшись ответа от финляндского сената).

Тяжелы были предсмертные думы писателя, чувствовавшего себя эмигрантом, далеким и чужим родине:

«Человек — это звучит гордо!»... Она казалось вовсе не случайной в русской литературе, эта формула Максима Горького. «Чудесная должность — быть человеком на этой земле», — возглашал этот писатель незадолго до революции.

До чего иные, до чего противоположные формулы режут глаз в послереволюционной книге Леонида Андреева «Дневник Сатаны».

«Тяжело и оскорбительно быть этой штучкой, что называется на земле человеком, хитрым и жадным червячком, что ползает, торопливо множится и лжет». «Хорошо волку быть волком, хорошо зайцу быть зайцем и червяку — быть червяком». Но человек «вместил

в себя бога и сатану, и как страшно томятся бог и сатана в этом тесном смрадном помещении», — читаем мы в книге Л. Андреева. Если кролика сделать умным — он повесится от тоски». Ум — это логика, а что хорошего может обещать кролику логика?... А и трудно же, «очень трудно быть человеком на земле!».

Так думал и чувствовал в последние дни свои большой русский писатель. Среди таких вот мыслей и чувств — постигла его в чуждой и злой Финляндии внезапная смерть, сделавшая ненужными хлопоты о «разрешении в'езда» в Англию с полученной уже после смерти запоздалой трагической визой.

До чего не похожи эти трагические ноты в голосе на ту простую и ясную любовь к родной земле, какой начинал свой писательский путь в первом томе своих рассказов Леонид Андреев:

«У нас, в Тамбовской губернии, веришь ли, отец, до чего хорошо... За милую душу... Яблоня у нас, белый налив, солнышко за милую душу светит...» (Леонид Андреев: «Жили-были»).

Смерть Леонида Андреева на чужбине, вдали от России, кажется символической. Как будто не смерть отдельного писателя, а гибель целой эпохи литературы русской встает перед нами.

Прах Леонида Андреева не предан земле. Гроб с телом писателя помещен в маленькой часовне в парке местной помещицы.

«Теперь в чужой стране, в занесенной снегом часовне стоит гроб с его телом и ждет, — рассказывает автор «Воспоминаний»: — ждет того времени, когда свободная Россия потребует его прах для достойной встречи».

Гроб Леонида Андреева не похоронен и доселе. Он стоит в часовне, в глухой деревушке, в Финляндии, и ждет, ждет того времени, когда его можно будет перевезти в Россию, туда, где цветет «Яблоня белый налив», где «за милую душу» светит родное солнце.

Но России нужны не гробы, а живые силы. И еще больше нужна Россия этим живым силам, бесплодно растрачиваемым в эмиграции.

Трагический образ эмигрантом рожденного, эмигрантом погибшего, Леонида Андреева — кажется грозным символом в наши решающие дни.

VII.

Белое творчество.

Пишет генерал А. И. Деникин, том за томом выпускает генерал П. Н. Краснов, творит без устали генерал А. С. Лукомский. Но красноречиво молчат Ив. Бунин, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский.

Отдельные выступления их сплошь и рядом заставляют влюбленных в литературу людей только пожалеть о том, что они нарушили молчание.

Вот в фельетоне своем, в «Общем Деле» Бурцева, Д. С. Мережковский уверяет:

«В Москве изобрели новую смертную казнь: сажают человека в мешок, наполненный вшами, и вши заедают его до смерти».

Кому и зачем нужно это тяжелое и неправдоподобное преувеличение?

Несколько месяцев назад Д. С. Мережковский писал уже об этом в варшавской газете «Свобода», и тогда же, помнится, в печати указывалось, что, как способ «борьбы с большевиками», такие приемы приводят только к противоположным результатам. — Ведь это же неправда, и каждому видно, что это только неудачная выдумка!

Но Д. С. Мережковский стоит на своем, и снова и снова повторяет: «сажают человека в мешок...» и держат «пока не заедят до смерти». И Ив. Бунин также совершенно серьезно еще задолго до дней голода стал

обсуждать вопрос о том, входит ли «суп из человеческих пальцев» в обычное меню в Советской России.

Сами по себе утверждения такого рода, конечно, вовсе не исключительны. То ли еще сообщали всяческие недоброй памяти «Осваги»! Но когда такие сообщения исходят из уст Д. С. Мережковского, или Ив. Бунина, над этим стоит задуматься: как создается психология таких вот «преувеличений»?

Есть какая то странная психология поправения, и признаки этой эпидемии, думается, делаются все более устрашающими в наши дни.

Д. Мережковский со своим утверждением «нового способа смертной казни» и Ив. Бунин с «супом из человеческих пальцев» — вовсе не одиноки в этом лагере неудержимо правеющих, правеющих во что бы то ни стало.

Д. В. Философов и Б. В. Савинков настойчиво убеждают, что погромный генерал Балахович не только «несомненный демократ», но отличается каким то особым «обаянием».

Но всего ярче, всего непосредственнее проявила симптомы этого изумительного и болезненного поправения г-жа Зин. Гиппиус.

Монашенки такие бывают. Злобная старушонка, ехидная, а на словах, — доброта несказанная. Она и от Луки, она и от Матвея, одними текстами извести может. И согрешившему против тебя прости, и, аще кто в левую ударит, — правую подставь. И богатства земные — тлен и суета, все раздай — легче будет.

А попробуй у этой самой, у проповедницы, отними что нибудь, самое пустяковое хоть. Только пальцем тронь, она тебе такого покажет, жизни не обрадуешься. Глаза выцарапает, горло в момент перекусит, а уж нaвизжит, наголосит, натараторит, востину святых вон выноси!

Г-жа З. Н. Гиппиус успела за годы эмиграции издать свой «Дневник», одну из наиболее устрашающих книг среди всей коллекции белых мемуаров, и, кроме того, том беллетристики.

Беллетристика прежняя, давно написанная. Нового в этой области ничего не выходит из под пера писателей, пораженных эмигрантщиной и связанным с ней бесплодием.

«Дневник» — книга новая, в дни революции написанная.

Стоит сравнить обе эти книги по их тону и содержанию, чтобы ярко проследить то перерождение тканей, каким заболевают в эмиграции авторы белых мемуаров.

Том рассказов З. Н. Гиппиус, выпущенный издательством «Русская Земля» в Париже не даром носит название «Небесные Слова». Уж такие небесные, удивлению приписать можно. Хорошо, что Иоанн Кронштадтский беллетристики не писал, а то бы и его З. Н. Гиппиус загоняла. Не герои в рассказах, а чуть не сплошь небожители какие-то.

Читаю рассказ «Вечная женскость» и ахаю. До чего необычна.

Приезжает сын к матери. Поцелуи, разговоры по душам.

— Да расскажи ты мне, Иван, толком: что вышло? — спрашивает мать. — Поссорились вы с женой, что-ли?

— Мы с Варей вовсе не ссорились. Она ушла к тенору.

— Как к тенору? К какому тенору? Это еще что такое? — возмущается мать.

Но сын и не думает волноваться. Жена его, «конечно, любила», даже в свое время отравилась было от любви к нему. Но, видите-ли, товарищи, которые приходили к нему, — «ей казались неинтересными». У нее — свои знакомые. «Ей с ними веселее. Зачем же стеснять? Бог с ними, я никого не сужу».

— У иных, — соглашается сын, — и правда, бывает чувство «собственности» к женщинам, на известное время, короткое или долгое. У меня этого чувства никогда не было.

Мать в отчаянии. Не может, чудачка, небесности понять.

— Боже мой, боже мой! Кто бы мог думать, что она такая дрянная женщина. Бедный мой Ваня! — вздыхает мать.

— Почему дрянная? — удивляется сын. — Что ты мамочка?

Может быть во имя принципа свободы любви выступает герой г-жи З. Н. Гиппиус? Отнюдь нет. Это вовсе не любовь, а так, что то иное, это не важно.

— Полюбила ли Варя тенора? Я не думаю... — уверяет муж. — Она меня на него не променяла. Она вероятно недолго будем им увлекаться. Тенор очень занят. У Вари теперь веселое общество. Только вот здоровье у нее хрупкое, заболеет, пожалуй. Я ей хочу написать, чтобы она, если заболеет, вернулась ко мне.

Нормальному, здоровому человеку разобраться в положении затруднительно. И «не променяла», и «не полюбила», а так просто, к тенору ушла. Общество, видите ли, веселое, совсем как будто на бал уехала. Потанцует и назад вернется.

— Ваня, да что с тобой? — ахает мать. — Ведь это же безнравственность. И ты хочешь ей все простить?

— Не вижу, что тут прощать, — отвечает «с удивлением» муж. — Какая тут безнравственность? Это не касается ни людской нравственности, ни безнравственности. Для меня теперь все стало совершенно ясно».

Читателю добиться этой вот ясности — так и не удается. «Конечно жаль, — говорит муж, — что около Вари все это очень неказисто, суетливо, недостаточно блестяще, и тенор не из важных»...

Будь тенор получше, — муж бы, очевидно, и вовсе повеселел. Пусть бы любовник гоголь-моголь почаще пил ,все-таки голос чище, мужу приятнее.

Этакая вот небесность позиции проявляется чуть не во всех рассказах.

Вот и в рассказе «Небесные Слова» то же самое. «Только успел, — рассказывает муж, — жениться на Верочке, еще и медовый месяц не истек, а уже обоим «в одиночестве» неуютно, а тут еще у Верочки «сделался

насморк». Слава богу, налетели гости: студенты, офицеры. Верочка зажила весело».

О ревности — и здесь, и речи быть не может. Насморк ли, измена ли — дело житейское. Что за устарелые понятия этакие, в самом то деле!

— Она, — говорит муж, — я думаю, начала изменять мне со второго—третьего месяца. Почти у всех людей,— об'ясняет он, — есть призвания: один — чувствует себя прирожденным медиком, другой — путешественником. Верочка была рождена куртизанкой. Если бы она пошла в сельские учительницы, или монашенкой — это было бы дурно. Но она была куртизанкой, жрицей любви, потому что родилась для этого и так было хорошо».

Слов нет, бывают такие женщины, о которых говорят «вся рота хвалит».

Но чтобы в таких случаях к хвалебному хору целой роты присоединили свой робкий голос еще и мужья, — это бывает только у З. Н. Гиппиус.

Откуда это у нее? В каком смысле и почему?

* * *

Рассказы З. Н. Гиппиус — написаны ею в разные периоды. Под каждым из них старые даты. И если именно эти рассказы избраны ею теперь для изданного в Париже тома, — то подбор, очевидно, не случаен, и должен дать представление о главных чертах авторского мировоззрения, сложившегося за долгие годы.

По правде сказать, кроме мировоззрения, — здесь ничего больше нет. Как о художественных произведениях, — о рассказах З. Н. Гиппиус говорить не приходится.

До чего бескрасочно, бесжизненно, все у нее; читаешь, точно вату жуешь.

Все герои З. Н. Гиппиус только и делают, что рассуждают.

— Люди ошибаются, — говорит, напр., в рассказе «Комета» маленький мальчик отцу. — Я не начинал раз-

говора, но, если ты хочешь знать, то вот: мама мне как то об'яснила, что все творения божии равны. А я смотрел, как все делается и подумал: где же равны? Одно творение за столом сидит — это ты, папа; другое ему подает, служит — это Поля; а третье творение сжаренное, его едят — рябчик. Вот я и подумал: значит, неравны, потому что если бы равны — то несправедливо» (стр. 125).

Взрослые герои и героини у автора умничают еще больше. И от этого нетерпеливо и нервно ищешь: где же оно, в самом деле, это самое мировоззрение у автора?

З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) — как издавна принято думать, человек умный и серьезный. И зачем только, зачем вздумалось ей это свое миросозерцание закутывать в беллетристическую форму, в которой она до такой степени беспомощна? Пользовалась бы формой публицистики, в которой она бесспорный мастер. Не даром же, в самом деле, Антон Крайний, хотя и напоминает изобретенное Плюшкиным мужское имя Елизавет Воробей, — это «имя».

Если внимательно прочесть книгу, — главным и основным стержнем ее ясно видится своеобразный «коммунизм автора». — Нельзя любить человека для себя, — вот главная тема рассказов. Мы видели, как неожиданно легко относятся мужья к изменам своих жен. Ушла Варя к тенору, и ушла. Сделалась Верочка куртизанкой, и сделалась. За что тут обижаться?

Это — основной принцип автора. Стоит героям попытаться нарушить этот тезис, стоит, напр., мужу возмечтать о том, что ему жена для себя нужна, или жене всерьез привязаться к мужу, и уж З. Н. Гиппиус не простит им этого греха.

Хорошо еще, если, как в рассказе «Влюбленные», — она заставит супругов стосковаться через три месяца после свадьбы, и расскажет, как муж «столько раз целовал ее за три месяца», что настоящий первый поцелуй «совершенно стерся от прикосновения его же собствен-

ных губ» и мещанская приятность любви, комфорт ее без остатка с'ели навек ускользнувшее счастье.

В других случаях результаты собственности в любви, как в рассказе «Все к худу», — гораздо серьезнее. — Жена моя, Марья, была женщина большая, грязная, крикунья. Жили восемь лет вместе. И так она мне надоела... этого рассказать нельзя!.. Я утюгом в нее. И так ловко попал прямо в висок. И раскаянья не было. Точно и не убивал. Просто вот и не думаю, что убил...

— Это не случайность, — настойчиво подчеркивает автор. — Будь другая жена, лучшая, все равно то же самое, — уверяет герой. И правильно. Если жена не изменяет, и ее не убить — это что же будет. Беспорядок один.

Нельзя быть собственником, — до чего неустанно и упорно, рассказ за рассказом проповедует эту истину автор. Даже тургеневская девушка не могла бы так презирать физическую любовь.

Маленький мальчик, Витя, и тот в рассказе «Комета» остро презирает горничную Полю, которая захотела выйти замуж за какого то Мелентия. «Это мне казалось противным и досадным, главное: замуж! Это еще что? Вдруг явился какой то Мелентий, и Поля скачет к этому мерзкому Мелентию. Я ревел от злости целое утро» (стр. 150).

И философ Александр Михайлович, в другом рассказе «Тварь», — тоже принципиально восстает против того, чтобы люди отдавались и принадлежали друг другу:

«Закон природы! Много ты знаешь о законах природы. Вон в допотопные времена люди жвачку жевали и отрыгали. Не закон природы это был? А ну-ка ты отрыгни, не хочешь небось? А тут не жвачка, тут все человечество плачет да стонет».

Понятия принадлежать и отдаваться, — это для философа г-жи З. Н. Гиппиус сплошная «тошнота и пакость». «Любовь». До сих пор про любовь говорят, — возмущается он.

«Тут друг друга мерзим да топчем... Без дурмана, без полубеспамятства, без человекоубийства никто теперь не соединится ни с какой женщиной, потому что не может... Не свойственно это ему, не нормально это ему больше, слышишь?»

По рассказам г-жи Гиппиус, самая духовная и искренняя любовь ни на иоту не уменьшает «тошноты и пакости» обладания. «Все равно, каждый ли день с разной или десять лет с одной. Это уж, брат, коль в корень смотреть, все равно» (стр. 278), — уверяет философ.

И напрасно будет мама убеждать маленького Витю, что он не имеет права презирать Полю за ее желание выйти замуж.

— Согласись, мама, что это гадко с ее стороны, — плачет мальчик. — Ну, я могу еще понять, ну пусть она любит Мелентия, но замуж то к чему? Что это еще? Нет, мама, Вася правду говорил, что все женщины во-первых, злы, а во-вторых, глупы...

И напрасно распинается умная мама. — Природа велела, чтобы животные и люди имели детей. И вот взрослый, у которого тело взрослое, бессознательно стремится угодить природе. Поэтому Поля и хочет выйти замуж, т.-е. жить вместе с Мелентием, чтобы иметь детей» и т. д., и т. п.

Мальчика так и не убедить. Его г-жа Гиппиус совсем по иному воспитала:

— Значит, мама, когда я выросту, и я так буду любить, как Поля? С инстинктом, и чтобы самому, чтобы себе иметь?.. О, мама, как это плохо!

Страница за страницей только и видишь, как ополчаются герои и героини за это ужасное желание себе иметь... Жена — для любовников, для тенора, для приезжих офицеров и студентов, — это все вполне терпимо. Но жена для себя — это кажется г-же Гиппиус воистину кощунством.

...Неужели эта пылкая коммунистка так и не согласится ввести нэп в эту свою навязчивую идею национализации женщин?

* * *

Но что это? «Луначарский устроил свою «ципочку», красивую Р. Она, вообще, малограмотна, а любит только лошадей. У Луначарского в бытность его в Петербурге уже была местная «ципочка», какая-то актриса из кафешантана. И вдруг (рассказывает Х.) является теперь в Москву с ребенком» (стр. 55).

Стиль — это человек. И по стилю этих странных сообщений о ципочках, — совершенно ясно, что взяты они именно из дневника горничной. «Т. изгнал свою жену из «Всемирной Литературы» (а также из своей квартиры). Она перекочевала к Горькому, который усыпал ее бриллиантами (? за что купила, за то и продаю, за точность не ручаюсь). И теперь лизуны не знают, чью пятку лизать...» (стр. 59).

Все эти шедевры взяты не из дневника горничной, а из «Дневника Зинаиды Николаевны Гиппиус», напечатанного в «Русской Мысли» с особым указанием: это «не просто литературное произведение, а замечательный человеческий документ крупного исторического значения» (!).

Документ, и вправду, замечательный! О ком бы ни говорила эта странная дама, она так и брызжет злобой и ядовитой сплетней. Вот оно когда выяснилась до конца эта елейная монашенка.

А. Ф. Кони? «Передался большевикам», — тараторит З. Н. Гиппиус. — ...Хромой, 75-летний старец за крупу решил «служить пролетариату». Уже об'явлены его лекции. Крупу то получит, но ведь стыдно!» (стр. 168).

Александр Блок? С ним я «не сообщаюсь». Я «взорвала мосты между нами». Говорят, Блок болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых «12» (стр. 60).

Валерий Брюсов? «О разрыве с ним не жалею. Я жалею его самого». Он «издавна злоупотребляет наркотиками».

О ком не заговорит эта, притворявшаяся монашенкой, злобная дама («мы с Д. С. Мережковским и Д. В. Философовым принадлежали к тому кругу, который называли «совестью и разумом» России», любезно напоминает она в предисловии), — всех, как слюной бешеной собаки, забрызжет.

«Мы не знаем даже того, что делается буквально в ста шагах от нас» (стр. 178) — заявляет она. «Есть только слухи, и «каждый день есть всякие слухи, обыкновенно друг друга уничтожающие» (стр. 183). «Источник нашей информации — это кухня» (стр. 163).

Но, когда дело касается сплетен, З. Н. Гиппиус, и при этом, ею же об'явленном, полном незнании окружающего, — оказывается не только изумительно осведомленной, но и неисчерпаемой. Так и несет, так и тараторит:

«Максим Горький покупает порнографические альбомы» (стр. 177). «Максим Горький на автомобиле великой княгини катается» (стр. 176). «Жена Горького сколотила деньжат» (стр. 188). «У Горького бабья душа. Он неспособен к культуре» (стр. 172). И если даже она рассказывает, как Горький доставал работу или «из благотворительности подавал копеечку», — то только для того, чтобы сказать: на копеечку эту не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны». Горький, если верить З. Н. Гиппиус, даже не говорит, а только «по собачьи лает». «Вы мне надоели. Ну и пусть вашего брата расстреляют» (стр. 171) — заявляет, будто бы, Горький пришедшему к нему старику.

Если таковы в изображении томной поэтессы А. Ф. Кони, Александр Блок и Максим Горький, — то удивляться ли, что для нее матросы — это, «матросье», евреи — «жиды», солдаты — «одурелые рабы», и т. д. до коротеньких определений «хамье» и «сволочи» включительно.

О, автор «Небесных Слов», умеет любить Россию! «Меня, как писателя-беллетриста занимали не одни исторические события» — говорит она о себе. Но именно поступи истории-то она так-таки ни на минуту и не почувствовала. Она интересуется только сплетнями, и, кроме них, видит только свою брошку (за шесть тысяч пришлось продать, вы подумайте — «большой бриллиант»), свои портьеры («продала старые портьеры. И новые»)...

«На нашей улице, когда то очень аристократической, очень много было красивых особняков» — вздыхает она.

Какая, однако, странная эта возвышенная душа тургеневской девушки. Мы видели, как широко смотрит З. Н. Гиппиус на отношения человеческие в области любви. Мой муж, моя жена, — это кажется ей воистину преступлением. «Чувство собственности» к женщине? Какая пошлость! Ушла жена к тенору — что ж такое? «Тут нет ничего безнравственного». Захочет, — назад вернется.

Но как трагически резко изменилась эта альковная коммунистка, когда дело коснулось ее парижского палантина «Лупорожего Алябьева, — сообщает она в «Дневнике» — рыжего детину из шоферов, который для жены купил мой парижский мех — сцапали. Спекульнул со спиртом на 2½ миллиона. Ловко!» (стр. 188). «Кажется расстреляли», — с аппетитом прибавляет она.

До чего не похож самый стиль «Небесных Слов», томный и пухлый, до предела литературный, — на всамделишный, живой и энергичный тон: «Лупорожего Алябьева сцапали. Ловко!».

Это уже небось не литература, не «Небесные Слова». Здесь — дело! «Парижский мех у меня купил», шутка ли?

Эта очаровательная представительница «совести и разума» России — может в дальнейшем сколько угодно уверять нас, что ей, видите-ли, «близки социалисты-революционеры» (стр. 141), что ей лично совершенно

не важно, голодная ли она, оборванная, дрожащая ли от холода. «Что мне? Это ли страдание? Я уж и не думаю об этом» (стр. 83), что для нее главное, — это нравственные идеалы: «Сильнее всех чувств во мне говорит пламенное чувство долга» (стр. 153). Но все это нас уже не убеждает и звучат только юмористически искренние слова, выражающие мечту о расстреле.

Мы помним «Лупорожего Алябьева» и никакими «Небесными Словами» нас г-жа З. Н. Гиппиус больше не разжалобит.

— Ладно, ладно... Слыхали!

* * *

До чего характерен, до чего поучителен «Дневник Зинаиды Николаевны».

Представление о революции, напр., у З. Н. Гиппиус очень четкое и законченное. Революцию всероссийскую — она наблюдает именно с балкона, иначе она не согласна.

«Самодержавие; война; первые дни светлой, как влюбленность, февральской революции... Знаменитые К. — С. — К., т.-е. Керенский, Савинков и Корнилов... — перечисляет она, — Временное правительство — это все те же мы, те же интеллигенты... Вот — движение, вот — борьба, вот — история. И, наконец, — последний акт, молнии выстрелов на черном октябрьском небе. Мы их видели с нашего балкона».

Дальше этого, позже этого ничего не видит, и не желает видеть капризная дама. «Потом — наступил конец. «Последняя точка борьбы» — утверждает она — это Учредительное Собрание», с «нашими друзьями», скугалистами-революционерами (стр. 146).

Все остальное, настоящее и будущее, — это уже от лукавого: «Матрос Железняков об'явил, что утомился, и закрыл Собрание. Сколько ни было дальше выстрелов, убийств, смертей, — все равно». «Дальше агония революции, ее смерть».

Даже вопроса старого не возникает о том, — «Миру ли не быть, мне ли чаю не пить»? Ответ для нее и без того ясен. Главное — это чай пить. Раз мне дальнейшее не нравится, значит оно не существует. В неисчислимых муках перерождается страна, рождается новая жизнь, но все это не важно. «Очень все не интересно. Ни страха, ни надежды. Одна тяжелая свинцовая скука» (стр. 182) — читаем мы в дневнике. «Не буду верно писать больше. Да и о чем? Так однообразно, так скучно».

Отныне расшевелить барыню — можно только или сцапав лупорожего Алябьева, или — самое бы приятное! — устроив интервенцию. Ничего больше она не признает.

«Малейший внешний толчек» — вот ее главная мечта. И этот «необходимый внешний толчек» — сумасшедшие люди позволяют себе называть «вмешательством во внутренние дела России»! Но «каким вмешательством, в какие внутренние дела России была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту» (стр. 50). «Хоть сам чорт, хоть дьявол, — только бы пришли». Так будто бы думают все вместе с нею: «И чего они там, союзники эти самые! Часок только и пострелять с моря, и готово дело! Уж мы бы тут здешней нашей сволочи удрать не дали — нет! Уж мы бы с ней тогда сами расправились» (стр. 160).

При таких настроениях заподозреть г-жу З. Н. Гиппиус в большевизме не рискнул бы, очевидно, и сам г. Лапинер-Гессен, из союза литераторов в Берлине. Как не велики сыщнические наклонности многоголового Гессена-Лапинера, — должен же и он почувствовать, что автор «Дневника» З. Н. Гиппиус не большевик, а его единомышленник: «Когда «их» в Москве взорвало — пишет г-жа Гиппиус: — очень ловкий был взрыв, хотя по последствиям незначительный. Убило всего несколько не главных евреев и евреек, да оглушило Нахамкеса» (стр. 64).

Правизна и благонадежность г-жи З. Н. Гиппиус вне спора.

Тем более изумительны слова о роли эмиграции в ее устах. «Дневник» все-таки писался в России, и вот против воли автора, какие то правдивые нотки зазвучали даже в словах этой елейной дамы.

«Как могут распоряжаться откормленные русские эмигранты, разные «представители» пустых мест, несуществующие «делегации» и т. д.», возмущается даже З. Н. Гиппиус.

«Когда к нам глухо доносятся голоса зарубежников, каких то русских парижских «послов», — мы здесь скрежещем зубами, сжимаем кулаки. О, если б не тряпка во рту, как бы мы крикнули им всем. — Что вы делаете? Кто вам дал право распоряжаться нами и Россией? Как вы смеете от ее лица что-то «признавать», чего-то не признавать, распоряжаться нами?» (стр. 61).

Эти слова, важные и значительные и так странно видеть их рядом со сплетнями о «ципочках» и вздорной тоской об исчезнувшей брошке и проданном парижском мехе.

Эмигранты «были бы только смешны и глупы,—говорит в другом месте З. Н. Гиппиус, — если бы глупость не смешивалась с кровью. Но это кровавая глупость!» Они «не понимают, что все их партии — уже фикция, туман прошлого, что ничего этого уже нет безвозвратно» (стр. 62). Преступные тупицы! Они перестали быть русскими. Русские только мы, только в России (стр. 95).

С какими чувствами перечитывает теперь эти слова о «Кровавой глупости» автор, успевший, вот уже год-другой провести в эмиграции, в самой трогательной близости со всеми несуществующими делегациями и представителями пустых мест, о которых так правильно и убийственно судила она в России?

* * *

Дневник — дело личное и даже интимное. Никакой коллегии здесь, очевидно, делать нечего. Но г-жа З. Н.

Гиппиус с особым удовольствием всюду, где можно, ставит в «Дневнике», вместо я, — мы. «Мы с Дмитрием и с Димой». Дмитрий — это Д. С. Мережковский, Дима — Д. В. Философов, — об'ясняет она в примечаниях.

Зачем ей понадобилось это постоянное мы, — понять трудно. Неужели единомыслие группы заходит, и вправду, так далеко, что гг. Д. Мережковский и Д. Философов согласны взять и на себя моральную ответственность за сплетни о «ципочках»?

Когда то Д. С. Мережковский напечатал в «Русском Слове» очень хвалебный фельетон о З. Н. Гиппиус, под заглавием «Ночью о солнце». Во мраке общественной ночи у нас в России есть солнце. Это — З. Н. Гиппиус.

Д. С. Мережковский допустил неосторожность, и начал свой фельетон с указания, что он так хвалит г-жу Гиппиус, вовсе не потому, что она его жена.

Помню, я тогда же в «Журнале Журналов» счел необходимым отметить, что в наше время семейного развала такое публичное доказательство редко-трогательных семейных чувств надлежит всемерно приветствовать, как явление исключительное. «Новое Время», помню, цитируя мою заметку, от себя добавило совсем уж непочтительную цитату из былины о Владимире Красное-Солнышко: «Когда стол был во полу-столе, а пир во полу-пире, — нередки были такого рода хвастливые выступления, напомнила газета: — «Умный хвастает своей мудростью, щедрый хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой».

Подозревать Д. С. Мережковского в глупости, очевидно, не приходится. Он — умный, и чудесно знает, что он делает.

«Новое Время» просто сводило старые счеты из того периода, когда оно в ответ на полемические выпады со стороны «троицы», гг. Гиппиус, Мережковского и Философова, неожиданно опубликовало подлинники известных писем Д. С. Мережковского к А. С. Суворину с просьбами о денежной субсидии на журнал «Новый

Путь» и всяческими обещаниями относительно направления журнала.

Таким образом, это настойчивое «мы» в дневнике З. Н. Гиппиус имеет давнюю и грустную историю.

Неужели же и Д. С. Мережковский и Д. В. Философов полностью разделяют мысли и выводы этой злобной дамы?

Г-жа З. Н. Гиппиус, судя по ее книге «Небесные Слова» имеет право на снисхождение: «Женщина — это существо, которое все уговорились считать и называть человеком, хотя ничего из этого кроме боли и муки не выходит» (стр. 207). «Женщине не надо понимать, и ей не дано понимание. Она — женщина» (стр. 208).

Но гг. Д. С. Мережковский и Д. В. Философов... Они ведь не тургеневская девушка. Они ведь в некотором роде мужчины.

VIII.

Старый барин.

Нет уж! Пусть лучше, и вправду, пишут генералы, и молчат писатели. После ехидной монашенки З. Н. Гиппиус кажется образцом благородства такой, напр., автор белых мемуаров, как толстый и добродушный «старый барин» М. В. Родзянко.

Ах, времена переменчивы! Давно ли М. В. Родзянко восседал на председательском кресле гос. думы. Теперь он раз'езжает с хором по городам Сербии и Болгарии, и как же ему в качестве отставного и бывшего не взяться за мемуары.

«Воспоминания» М. В. Родзянко имеют, думается, исключительное право на внимание. Этот родовитый старый барин, как удостоверяет книга Ал. Блока «Последние дни императорской власти», был чуть не единственным, кто прямо и резко говорил правду в глаза б. царю. («Опять этот толстяк мне надоедает»— говорил Николай еще 27 февраля 1917 года, получив знаменитую телеграмму от председателя гос. думы).

А потом, после головокружительной роли, какую играл М. В. Родзянко в февральско-мартовские дни, пришло иное время, и старого барина в неузнаваемом виде, побритого и переодетого, закутанного с ног до головы в качестве «больного» перевозят на Дон к Каледину. (Тогда это было модно: в только что вышедших «Воспоминаниях» А. Гольденвейзера рассказано, что и

П. Н. Милюков и М. М. Винавер тоже прибыли в Ростов не в своем виде и выбритые наголо).

А вскоре после этого, на Дону бедного М. В. Родзянко признали «слишком левым» и в срочном порядке выслали. А потом пришли унылые дни беженства, и М. В. Родзянко стал с хором раз'езжать по городам Сербии и Болгарии...

И вот теперь, когда он оказался на страницах гессенского «Архива русской революции», как же не всмотреться, не вслушаться в то, что хочет сказать миру этот старый барин?

Надо правду сказать. Чем внимательнее вчитывашься в «Воспоминания» М. В. Родзянко, тем яснее видишь, что хвастать, как говорится, нечем. М. В. Родзянко не создан для профессии писателя. Это не его специальность.

Чем то безнадежно прошлым, от «времен Очаковских и покорения Крыма» веет от каждой строки:

«Как ни больно для национального самолюбия, необходимо признать, что в русско-японской войне победила Япония» (стр. 10). Правительство Плеве пыталось ограничить право земств распоряжаться ветеринарным делом (стр. 8).

«Я смело (!) утверждаю, что правительство... не шло навстречу обществу» (стр. 35).

Неужели, и правда, в 1922 году написаны все эти ненужные слова?

Но, если собственные мысли М. В. Родзянко грешат примитивностью, — то воистину драгоценны те бытовые черточки, какие нет-нет да и проглянут в его рассказе:

«Когда на пост премьера был назначен И. Л. Горемыкин, я спросил его: Как вы, Иван Логгинович, при ваших преклонных летах решились принять такое ответственное назначение»? Горемыкин ответил буквально следующее: «Ах, мой друг, я не знаю почему, но меня вот уже третий раз вынимают из нафталина» (стр. 37).

Любопытны также подробности о том, как вело себя правительство в дни революции. 27 февраля, в тот день, когда «произошли первые бесчинства, поджог окружного суда и разгром арсенала», правительство в полном составе собралось в Мариинском дворце для обсуждения мер борьбы с беспорядками. В это время кто-то пустил слух, что к Мариинскому дворцу «идет толпа». Сразу же «распорядились потушить все огни». Никакого нападения, конечно, не было, но «по словам одного из членов правительства, когда снова зажгли огонь, — то он, к своему удивлению, оказался под столом» (стр. 58).

При такой панике, не приходится удивляться тому, что знаменитые приказы Хабалова о воспрещении скопляться так и не удалось распространить по городу, ибо «нельзя было найти клея».

Еще содержательнее в «Воспоминаниях» М. В. Родзянки бытовые черточки из думской, напр., жизни:

Осенью 1916 года М. В. Родзянко, убедившись, что его личным предостережениям, относительно «неминуемого взрыва», — Николай не верит, собрал представителей всех партий, входящих в состав прогрессивного блока и предложил всем вместе «испросить доклад у верховной власти», попытаться гуртом убедить Николая в необходимости изменить политику. «Но этому, — рассказывает М. В. Родзянко, — воспротивились представители кадетской партии, в лице ее лидера, П. Н. Милюкова, который находил, что такое действие было бы актом неконституционным (стр. 51).

Но всего любопытнее и значительнее то, что сообщает М. В. Родзянко об армии в те дни. Уже в ноябре 1914 года верховный главнокомандующий Николай Николаевич специально вызывает М. Родзянко в Ставку, и заявляет буквально: «Я в безвыходном положении. Армия без сапог, помогите!» (стр. 19). М. В. Родзянко решил было собрать с'езд общественных организаций и наладить снабжение, но министр Маклаков заявляет: «Я не могу разрешить с'езда: это было бы

демонстрацией неналаженности снабжения. И кроме того, я не хочу дать разрешения: вы, под видом поставки сапог, будете делать революцию» (стр. 20).

Многое рассказывает об армии б. председатель гос. думы: «Армия сражалась тогда почти голыми руками. При поездке моей на фронт, весной 1915 года я был свидетелем, как отбивали неприятельские аттаки камнями (!). Было предложение вооружить войска топорами (!)» (стр. 22).

Уже в те времена были на лицо все признаки того «разложения» армии, какое обычно ставят на счет революции. «В 1915—16 гг. количество сдавшихся в плен — дошло до 2-х миллионов; ушло с фронта в качестве дезертиров полтора миллиона». Таковы официальные цифры: легко представить себе, каковы были настоящие! Даже в первые дни войны, когда по мобилизации явилось 96% призываемых, солдаты воевать не хотели. «26 августа 1914 г. в битве под Гельчевым, из 3½ тыс. солдат в полку, после боя оказалось только полторы тыс. Но через 3 дня к кухням собралось еще вполне здоровых 1.500 человек. Утверждаю, что эти случаи не единичны и вполне проверенные», — говорит М. В. Родзянко.

Еще до переворота в Петербург прибыла группа офицеров, с ген. Крымовым во главе, со специальным докладом о том, что «армия разлагается и дисциплине грозит полный упадок». «Грозное, все растущее настроение в полках таково, — что солдаты откажутся итти вперед и в течение этой-же зимы могут покинуть окопы и поле сражения» (стр. 43). «Я утверждаю, — говорит Родзянко, — что если бы и не было революции, война все равно была бы проиграна, и был бы, по всей вероятности, заключен сепаратный мир, быть может, не в Брест-Литовске, а где-нибудь в другом месте, но, вероятно, еще более позорный (!), ибо результатом его явилось бы экономическое владычество Германии над Россией» (стр. 45).

* *

Главная задача, какую преследует М. В. Родзянко в своих «Воспоминаниях», — это доказательство того, что ни гос. дума, ни он, ее председатель, не повинны в подготовке создания переворота: старый барин пылко и убедительно доказывает, что гос. дума «была абсолютно чужда каких бы то ни было революционных стремлений».

Он, конечно, совершенно прав в этих утверждениях. Ему ли, представителю родовитой, помещичьей знати, было мечтать о каком бы то ни было народоправстве?

Воистину изумительна та сплошь неверная легенда, какою, без малейших оснований, оказалась окутана IV гос. дума, в огромном большинстве своем настроенная если не черносотенно, то не более, чем право-октябристски.

Гос. дума не только не «делала» революции, но уже и после того, как восставшие толпы совершили переворот и закрепили, принимала все меры к тому, чтобы его анулировать, старалась всеми силами сторговаться с Николаем о воцарении Алексея или Михаила. Из книги «Записки о революции» Н. Суханова мы знаем, что эта торговля о троне производилась по секрету от Сов. раб. и солд. депутатов, которому, как это явствует и из слов Родзянко, — единственно принадлежала вся власть в те дни. «Даже зданием, помещением гос. думы, сразу же, в первый день овладели вооруженные рабочие, и воспротивиться этому было уже невозможно», — жалуется теперь М. В. Родзянко: «Фактически уже 27 февраля партия социалистов овладела петроградским гарнизоном, и сделалась хозяйкой положения по этой причине, но до поры до времени она скрывала свою игру» (стр. 64).

Тяжелые дни довелось тогда пережить старому барину.

М. В. Родзянко, запарившись, встречал революционные полки и хриплым голосом говорил речи. «Православные воины! Я старый человек, я вас обманывать не стану: слушайтесь офицеров, они вас дурному не научат» (стр. 77). Получалась видимость, что во главе движения он М. В. Родзянко. Но в глубине души он уже и тогда чудесно знал, что он пешка, что от него ровно ничего не зависит.

2 марта Семеновский полк устроил было шумную овацию М. В. Родзянке, но, после речи Чхеидзе на темы о земле, и. о демократической республике, отношение солдат к председателю гос. думы стало, оказывается, «чрезвычайно агрессивным».

А 3 марта 2-й флотский экипаж, явившись в гос. думу, вместе со своими офицерами, заявил, что Родзянку, как «заведомого буржуя», нужно немедленно расстрелять. Любопытно, что так именно смотрели на это дело и офицеры этого экипажа, и только вмешательство «чужих» дало возможность Родзянке «избежать в этот момент расстрела» (стр. 67).

Эта позиция офицеров, — увы! — не исключительна в те дни сплошной перекраски в защитный красный цвет. Сам М. В. Родзянко рассказывает, что 3 марта именно офицерский состав побил все рекорды революционности, и не только вынес на митинге самые резкие резолюции с требованием немедленного ареста Николая II, но еще и ночью ворвался во временный комитет, чтобы «поддержать свои резолюции».

Ах, недаром М. В. Родзянко, как мы знаем из «Воспоминаний» Ю. В. Ломоносова, долго не решался выйти навстречу к первому, пришедшему в Таврический дворец полку. «Говорят, около двух часов стояли солдаты на морозе, пока колебалось сердце этого старого монархиста».

Еще и до сих пор не рассеяна нелепая легенда, что гос. дума, если не совершила, то хоть благоприятствовала перевороту. Где уж, что уж, чего уж! Думцев подхватил и понес шквал. Они всеми силами боролись и

противодействовали ему. П. Н. Милюков, например, пытается убедить собравшуюся в Думе толпу в желательности воцарения Алексея и регентства Михаила, но толпа думает совершенно иначе и П. Н. Милюков делается добрее. А. И. Гучков, по приезде из Ставки, уже на вокзале вздумал прочесть рабочим текст отречения Николая, и возгласил было «Да здравствует император Михаил!», но немедленно же был «арестован с угрозами расстрела» и освобожден только с помощью воинской силы (стр. 62).

Они, думцы, искренно хотели сохранить трон и порядок, но события были сильнее их. «Когда вел. кн. Михаил Александрович — рассказывает М. В. Родзянко — поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, — я должен был ему ответить отрицательно» (стр. 62).

Совет раб. и солд. депутатов во имя сохранения порядка по всей России в те дни, во имя обеспечения переворота, был заинтересован в том, чтобы сохранить иллюзию, что власть принадлежит времен. комитету гос. думы. И вот теперь старому барину, М. В. Родзянке, приходится клясться в том, что он не революционер. Ну, еще бы! Кто же мог думать иначе.

Но для многих и многих целый ряд фактов, опубликовываемых ныне Родзянкой, явится новостью: «После указа о роспуске, данного в ночь на 27 февраля, гос. дума подчинилась закону и никаких постановлений о том, чтобы не расходиться и насильно не собираться, не делала» (стр. 57) — взволнованно утверждает М. В. Родзянко.

Как же создалась эта странная легенда о революционности гос. думы? В «Воспоминаниях» проф. Ю. В. Ломоносова находим целый ряд чрезвычайно интересных подробностей. Еще в то время, когда Родзянко и все прочие думцы ждали только ответственного министерства, назначенного царем, и восстановления прежнего порядка, член думы А. А. Бубликов, в суматохе добившись аудиенции у Родзянки, заявил ему, что он

едет занимать министерство путей сообщения. М. В. Родзянко не спорил. Этот полный, добродушный человек хорошо знал, как надо держать себя на трибуне гос. думы или во время высочайших приемов, но он совершенно не знал, как надо вести себя в революционной обстановке.—Поезжайте, занимайте, делайте, что хотите!

Энергичный А. А. Бубликов пригласил двух своих друзей, Перлова и Сидельникова, набрал на улице солдат (Ребята, айда министерство занимать), и веселыми ногами отправился в нынешний Наркомпуть.

В министерстве все обрадовались. — Ну, слава богу, теперь мы уже заняты! И вот тогда то, еще 28 февраля А. А. Бубликов громыхнул свою знаменитую телеграмму по всем станциям жел. дорог России: «Железнодорожники! Старая власть оказалась бессильной! Комитет гос. думы, взяв в свои руки оборудование власти, ждет от вас удвоенной энергии».

А. А. Бубликов оказал и еще одну огромную услугу делу революции: при нем, как известно, железнодорожное ведомство «не допустило» ни приезда царя, ни прибытия в Петербург дикой дивизии, посланной на усмирение. Но особенно большое значение имела именно эта, первая, по существу бесспорно фальсифицированная телеграмма. «По всей России — говорит проф. Ю. Ломоносов: — от боевого фронта до Владивостока, от Мурманска до Персидской границы, на каждой станции получилась официальная телеграмма о том, что старая власть пала и что уже 28 февраля власть находилась, будто бы, в руках гос. думы».

А. А. Бубликов, конечно, рисковал виселицей в том случае, если бы оказалось, что он «не угадал» будущих событий. «Торжественно оповестив всю Россию о создании новой власти в те дни, когда ее еще и в помине не было, он предотвратил контр-революционные выступления на местах, и оказал этим громадную услугу русской революции. Но в то же время задержал ее естественное течение, окружив Думу совершенно не заслуженным ею ореолом».

Как подсчитать огромную пользу, какую принес этот смелый жест? Как подсчитать, однако, и огромный вред от того, что вся Россия оказалась обманутой. Все думали, что во главе революции — и впрямь стоит комитет гос. думы, что совет раб. и солд. депутатов — это какое то «частное», «безответственное» учреждение, только мешающее законной власти? Сколько горя и вреда принесла эта легенда?

Старый барин М. В. Родзянко, оправдывается теперь в своих «Воспоминаниях» вполне основательно. Он прав. Ни он, ни гос. дума ни на иоту не повинны в создании переворота.

Но почему так поздно выступил М. В. Родзянко с этими утверждениями? Что бы ему в 1917 году опубликовать, что революцию делала вовсе не гос. дума, что во главе ее стоял и должен был стоять совет раб. и солд. депутатов?

Поздно очень приходят иной раз в голову хорошие мысли! И даже теперь, опубликовывая свои мемуары, старый барин утверждает, что для блага России всем нам нужно быть только русскими, «ни правыми, ни левыми, ни социалистами, ни буржуями, ни монархистами, ни республиканцами». «Не рыба, не мясо», «не холоден и не горяч» называется эта странная программа.

И как удивительно, что эпиграфом к своим мемуарам старый барин, М. В. Родзянко, выбрал не что иное, как слова Сократа о том, что отечество не только дороже матери и отца, но и что его воля — верховный закон: «какие бы жестокости, какие бы несправедливости отечество ни совершало по отношению к нам, мы должны выдержать их и не отыскивать способов уклониться».

Странно звучат на страницах «Архива» И. В. Гессена эти слова в устах «старого барина» эмигранта.

Впрочем, это одна из тех странностей, какие неразлучны с победоносной революцией.

Сообщали же в свое время газеты текст телеграммы,

присланной на имя того же М. В. Родзянко 3-го марта 1917 года некиим хитрым исправником из города Елабуги:

«Двадцать три года состоя скрытым республиканцем, имею честь поздравить ваше высокопревосходительство...».

Сделал ли карьеру этот скрытый республиканец? Или, по нынешним временам, и он, бедняга, раз'езжает с каким-нибудь хором по неуютным городам чужбины?

IX

„Душка-тенор".

Премьером, очаровательным душкой-тенором эмигрантской словесности — считается генерал П. Н. Краснов. Этот донской атаман, на старости лет взявшийся за перо, по тиражу своих книг является победителем всех зарубежных конкурентов, какой то А. Вербицкой в лампасах. И престарелый тенор этот старается стремительно использовать свою славу. Где только не помещает он своих портретов, своих жизнеописаний, своих автографов и даже своих заветов:

«Уже слышу я шаги истории... Приподнимаю голову, прислушиваюсь.

В России уже назвали имя:

«Миколай Миколаич!».

Близок последний час.

— Не соблазнитесь!».

Этот новоявленный пророк и историк, гений российской словесности П. Н. Краснов обзавелся не только благодарными читателями, но и благодарными критиками:

«Книга генерала П. Н. Краснова есть сверкающее изумительное чудо» — характеризует, напр., книгу «От Двуглавого Орла к Красному Знамени» бурнопламенный критик Григорий Новицкий в берлинской ультрамонархической газете «Что делать?»

«Как некий ветхозаветный пророк Исаия, атаман

Краснов нарисовал нам величественную картину былого славного могущества Российской империи и грозную картину падения и гибели России.

Книга Краснова будит в читателе добрые чувства, жажду борьбы и подвига, и, подобно «Тарасу Бульбе» — Гоголя, и «Войне и Миру» Льва Толстого, войдет в сонм книг, составляющих Русскую Библию, одну Золотую Книгу русского народа.

Эта книга — есть чудо, — изумительное, сверкающее чудо, как-бы священное знамение нам свыше, потому что написана она в самых тяжелых условиях эмиграции, и появление ее на свет — есть смертельный удар торжествующим победителям: — врагам русского народа. Еще есть порох в пороховницах! Еще силен и крепок русский дух, и гордо возносится над опошлившимся, одемократившимся и ожидовевшим миром святая русская молитва к богу!».

Итак, пред нами не просто книга, а подлинное чудо, призванное спасти мир. Постараемся же внимательно отнестись к этому «знамению, дарованному свыше».

Чем другим, а размерами своей книги «От Двуглавого Орла» П. Н. Краснов успешно состязается с «Войной и Миром». Шесть частей, одна другой увесистее.

В тех сведениях, какие дал о себе автор романа в журнале «Русская Книга», — он называет себя «Бывший донской атаман, беллетрист».

Эта двойная формула целиком оправдывается содержанием романа. Как беллетристика, — этот огромный труд всего только зауряден. Все эти неизбежные «нервно раздутые ноздри» и «белые зубы, отдающие перламутром» у его героинь совершенно не убедительны. Но, как человеческий документ, — эта книга генерала царской службы имеет право на пристальное внимание.

...«Группе «буржуев» посчастливилось было занять теплушку, но вагон окружила вдруг толпа товарищей-солдат.

— Выкидай буржуев! И для нас местов нет, а они расселись. Нечего! Попили нашей кровушки, будя...

— Как же это можно, товарищи, нас вышвырнуть!— пытается убедить солдат один из «буржуев»: — По какому праву? У меня билет I класса, у меня плац-карта.

— Билет у тебя есть? А воши у тебя есть? На войне ты был? В окопах сидел?».

С этого характерного столкновения начинает свой огромный исторический труд автор.

— Не говорите мне ты, — убеждает владелец билета I класса: — я вам вы говорю...

— А я тебе — ты, — хмуро отвечает солдат.

— Как это началось? мучительно думает один из находящихся в теплушке, переодетый в штатское, старый генерал Саблин: — Как это началось? Были дворяне, крестьяне, мещане, и как то ведь уживались между собой. Быть может и много было несправедливого, ненормального, но злобы не было... Разве денщики не ухаживали трогательно за господами, разве на войне солдаты не прикрывали своим телом офицеров. Как это началось?

Но вот кто-то уже узнал переодетого генерала, и товарищи злобно кидаются к ружьям. — Расстрелять золотопогонника, нечего тут разговаривать...

— Как могли солдаты, еще недавно слепо повиновавшиеся офицерам, вдруг до такой степени их возненавидеть?

Книга П. Н. Краснова, прослеживающая годы от 1894 до 1921, рисующая жизнь и карьеру молодого корнета Саблина, дослужившегося до чина генерала, флигель-ад'ютанта его величества, — производит впечатление автобиографичности, и это только усиливает ее значение. Под пером этого «бывшего атамана, беллетриста» — страницы, описывающие мордобой в казармах, и пьяную, бестолковую, безалаберную жизнь «нашего полка», — вовсе не кажутся «разоблачениями» и от этого приобретают особую убедительность.

— Не сердись, Саша, — говорит Саблину старый скептик, Мацнев, — но ведь твое образование — образование девицы легкого поведения, не больше. Немножко истории, немножко географии, много патриотизма и беспредельная преданность государю императору...

Молодой корнет Саблин вовсе не слеп. Он видит, как офицеры бьют «по морде» солдат, его глаз режут надписи «вход собакам и нижним чинам воспрещается», но для него все это детали, по сравнению с главным, с основным: «Какое счастье быть в нашем полку». «Наш полк — это святыня».

Эта двойственность — продолжается всю жизнь Саблина. Он генерал, флигель-ад'ютант, удостоенный личной близости к его величеству, — ясно видит и Ходынку, и японскую войну, и 9-е января, и роль Распутина, — но «царь — это существо особенное, полубог. Все, что исходит от царя — священно».

Эта двойственность — не случайна. Она приобретена с детства, она наследственна.

— Папа, я буду офицером?

— Всенепременно. Все Саблины были офицерами. Что штатские? Штатские и не люди даже!

— В корпусе это презрение к штатским увеличилось, — рассказывает П. Н. Краснов. — Каких только смешных прозвищ кадеты им не давали: — шпак, стрюцкий, штафирка, рябчик».

Честь, собственное достоинство, гордость, — все это для «шпака» не существует, — искренно уверен Саблин. И если, напр., он, Саблин, поиграл с искренно полюбившей его гимназисткой и бросил ее, ждущую ребенка, это — не важно. Он заплатит. «Ведь, в их быту так водится, и у них девушка с прошлым не беда, лишь бы она была девушка с приданым». Они — люди «не нашего круга». И если, напр., в дни Ходынки оказалось много задавленных и перекалеченных, — то главное, это выдать пособие. Это, ведь, тоже люди «не нашего круга». Цифра этого пособия была раздута толпой

до громадных размеров... Вот, мол, у таких-то Машутку задавили... Малый ребенок, и восьми лет не было, а, слышь, многие тысячи за то получают... А наша дура пришла здоровехонька, и нам ничего...».

У книги П. Н. Краснова были все данные, чтобы стать значительной и важной. Эта подробная хроника русской жизни за годы с 1894 до 1921-го написана лицом, многое лично видевшим.

Но эта роковая слепота, мешающая Саблину понимать психику людей «не нашего круга»,—погубила книгу.

По началу видно искреннее желание разобраться в том, «что случилось» с Россией. Нет, нет, да и прорвется вдруг какая-либо фраза, такая неожиданная в устах генерал-ад'ютанта Саблина.

«Правды ищет мужик, и не может увидеть ее в том, что одному принадлежит четыре уезда, а другому полдесятины».

При внимательном чтении книги П. Н. Краснова кажется, что первый — и остальные томы его романа написаны разными авторами. В первом томе есть иногда наивное, беспомощное, но искреннее и настойчивое искание правды. И когда он рисует, как в день 9-го января «господа офицеры», принимавшие участие в «усмирении», после расстрела толпы — отправляются кутить к цыганам, — его волнует, что веселая гусарская песня после пьяной ночи в кабаке сталкивается с утренней похоронной песнью «Вы жертвою пали» в устах угрюмой толпы...

В других частях — таких противоречий уже нет. Здесь автору и его герою все ясно и понятно. Как японские миллионы в дни 1905 года мутили народ, так же точно и теперь «33 мудреца», которые правят миром, решили загубить Россию и весь мир. Просто все и ясно, воистину, как сосновая доска.

И именно так, просто и ясно из'ясняют весь смысл происходящего Ленин и Троцкий, впервые появляющиеся в качестве героев романа во втором томе книги П. Н. Краснова.

— Теперь, мы будем пить вашу (капиталистов) кровь, — заявляет дословно (!) в романе Ленин. — Мы потребуем себе, на свои постели, нежное мясо ваших подруг, мы войдем в ваши дворцы, и с'едим и выпьем ваши запасы! Прошлое, предки, история, слава! К чорту в болото и славу, и историю. Благородство, честность, вера, чувство долга все к свиньям под хвост!»

Так же красноречиво и точно высказывается в романе и Троцкий.

— Я жид, которому в гимназии соседи складывали угол полы мундира и показывали свиное ухо, — об'ясняет он. — Я — царь иудейский, я царствующий жид, и я сумею показать гоям... Девушки лучшего общества будут приходить ко мне и отдаваться мне, а я буду терзать и мучить у них на глазах их братьев и женихов....

— Это мне нравится, — спешно и не без грации подхватывает эту программу Ленин.

Таковы предельные достижения романа П. Н. Краснова. «Бывший атаман беллетрист» в своих исканиях удовлетворился самым дешевым, расхожим, уличным об'яснением того, что случилось с Россией... Японские миллионы, кадеты и жидо-массоны, 33 мудреца, управляющие миром и неизбежное «боже, царя храни» в апофеозе.

Первая часть романа П. Н. Краснова казалась искренней и ищущей, и только некоторая наивность, ограниченность кругозора, какой-то провинциализм мешали автору полностью разобраться в том, что творится вокруг него.

— Поговорим о боге, — говорит герой, молоденький офицер в «Днях нашей жизни», Андреева: — Поговорим о боге... У нас в полку говорят, что бога нет...

Со второй части романа этой искренней наивности уже нет. Здесь уже сознательная погоня за успехом по линии наименьшего сопротивления. «Сионские мудрецы» — это ли не ходкий товар!

И если для второй части искать эпиграфа в тех же «Днях нашей жизни» Л. Андреева, то надо вспоминать не фразу «У нас в полку говорят, что бога нет», а формулу другого героя из этой же пьесы:

— Отец мой умер, и мать моя умерла, и вот я все думаю: где я буду столоваться.

Это простое и ясное соображение «где я буду столоваться» побуждает лихого атамана всемерно использовать свой успех. Книга за книгой так и летят из под его пера.

Характернее других его книга «За чертополохом», опыт специально-монархической утопии. До чего далека и увлекательна оказывается здесь не стесненная никакими пределами генеральская фантазия.

«Император появился в Туркестане... Он был подлинный Романов, и никто не сомневался в том, что у него все права на престол. Простой народ верил, что от его головы исходило сияние. Императора сейчас же признали и присягнули ему...».

Так грациозно и просто разрешает вопрос о ближайшем будущем России этот «донской атаман, беллетрист». После того, как многотомный роман генерала «От Двуглавого Орла к Красному Знамени»,—был об'явлен всей правой печатью гениальным и значительно превосходящим «Войну и Мир», генерал не счел себя вправе уклониться от дальнейшей работы на благо России и вот в короткое время пред'явил миру новую работу, «За чертополохом», по заданию своему долженствующую изобразить дальнейший путь «от красного знамени до будущего Романова».

Характер у П. Н. Краснова решительный. В области философии истории он чувствует себя, как в казарме. Раз-два и готово!

«Остатки врангелевской армии, офицеры и солдаты корпуса Кутепова, беженцы в Германии, донские кадеты из Измаилии, донские казаки, бывшие на работах в Ганновере...» — все сразу же вернулись под высокую руку нового самодержца.

Способ управления был прост, — описывает П. Н. Краснов будущий строй: «Это был способ, который знал Моисей и который описывается в библии: над каждыми ста тысячью населения царем ставился воевода, тот уже от себя ставил десяти-тысячных начальников, далее тысяче-начальников, пятисотенных, сотенных — все по назначению. Только десятские были выборные от десятков».

После того, как «на белой лошади с уральских гор» пришел в Россию новый Романов, — «пьяная и паршивая», нынешняя Россия, как оказывается, сразу же сдалась на капитуляцию пред «Русью царскою, Русью императорскою». Коммунистам мгновенно вырезали языки («Во рту — страшно глядеть — только черный обрубок болтается»). И как только устроили еврейские погромы, «начисто истребляли», — так сразу же и выяснилось, что спасение России заключается вовсе не в демократической республике, а, напротив того, в «аристократической монархии».

«Все партии, — умиляется П. Н. Краснов, — полетели кувырком: в России заниматься политикой стало так же неприлично, как заниматься воровством или держать игорный дом».

И, как по звонку, — оказалось, что «все сыты, все довольны, все благополучны». Нищих нет. Деревня, «слава Христу и великому государю», богатая. Все живут по расписанию, и весь народ каждый день перед обедом, так и рассказано в книге, «боже, царя храни» поет.

А какие пироги, какие поросята и цыплята за столом у мужиков! «Это не деревня, а рай земной. Очарование!», — восторгаются путешественники. И даже петухи поют здесь не просто кукареку, а по иному: — «Как хо-ро-шо-о! Как хо-ро-шо-о!».

Как будто не замечая всего трагического смысла этого признания, рядом с сплошным гимном царскому режиму П. Н. Краснов проговаривается:

«Вопрос о земле решился сам собой! Там, где без тесноты жило сто восемьдесят миллионов русского

племени — осталось не более восьмидесяти...». «Всех социалистов сослали на Новую Землю, и они там вымерли». «Русского царя солдаты, — рады жертвовать собой», — с воодушевлением поет молодежь в этой «фантазии в лампасах».

Если смотреть на все эти вдохновенные предсказания, как на бред «Палаты № 6», — то на детали грядущего строя, предсказываемого П. Н. Красновым, можно не обращать внимания. Но эта болезнь очевидно эпидемическая. П. Краснов не одинок. Он ведь считается не только «самым талантливым», но и «наиболее прогрессивным» среди Рейхенгальцев. И его роман — это симптом. Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Вот почему поучительно всмотреться в основную тенденцию генеральского поучения.

Слишком левым для России, — уверяет П. Н. Краснов, — явился не только «Ленин, самый пьяный мужик, вшами покрытый», но еще Петр Великий, «насильно» введший «гнилую» западную науку и «непригодные» западные порядки «в русский обиход».

Новые будущие вожди, как оказывается, должны вернуться именно «к отправной точке, к допетровскому времени». Восторженно описывая, как будет процветать Россия при «будущем Романове», генерал Краснов не забывает подчеркнуть, что настольной книгой в русских семьях его «аристократической монархии» явится не что иное, как «Старый Домострой», исправленный для нашего времени.

Автомобилей, оказывается, нет. «Их не любят, из моды вышли. Нашим отцам они напоминали жестокие времена большевизма, когда каждый комиссар, каждая любовница коммуниста носились на автомобилях». Железные дороги, правда, имеются, и даже очень развиты воздушные пути, но «пассажирское движение незначительно». Как оказывается, «незачем ездить! — Ко святым угодникам разве, так и то больше пешком ходят», — об'ясняет генерал.

Суд присяжных — отменен. Но за то костюмы — до-петровские, «из тяжелой парчи» и «шапки высокие, малинового бархата с собольими отворотами».

«Во всем государстве, — хвастает генерал, — ни одной пишущей машинки и барышни над ней: вельможи сами своеручно пишут бумаги и даже копии не оставляют». Само собой разумеется, что «великим постом возглашают анафему Ленину, Троцкому и прочим». И уж, конечно, вместо министров и губернаторов,— введены думные дьяки и под'ячие, воеводы и тысяцкие.

Если-б автор «Записок монархиста» А. Вонсяцкий писал утопии, — он не мог бы превзойти П. Н. Краснова. Но если П. Н. Краснов возьмет в руки огнестрельное оружие, он, судя по его роману, окажется более удалым, чем А. Вонсяцкий.

Вот почему не веселят те залежи юмора, которые, в качестве серьезных путей обновления, предлагает грядущей России этот бывший атаман всевеликого войска Донского с «Домостроем» в руках.

Даже многострадальный язык державы Российской предрешено переделать при будущем Романове. Вместо телефона — «дальносказ», вместо кондитерской — сластежная», вместо вокзала — «стан», и даже вместо ад'ютанта—попыхач». И, вместо команды «На плечо»,— при будущем Романове командуют — сообщает ген. П. Н. Краснов: — кратко, но выразительно: — От матушки сырой земли, — к могучему плечу шара-ахни!

Густой запах арестанских рот идет от этой социальной утопии генерала: — Не зачем ездить по железным дорогам, не зачем рассуждать, не зачем вообще жить человеческой вольной жизнью. Надо только вырезать языки коммунистам, надо сослать всех социалистов к полюсу, надо наладить серьезные погромы, и — после этого всех обязать петь перед обедом «боже, царя храни», и тогда — Россия возродится.

Какой грустной, какой безнадежно азиатской кажется эта генерально-эмигрантская книга, изданная в Берлине и помеченная 1922 годом.

И, воистину, трагической и злобной насмешкой над автором кажутся на этих страницах слова о родине, «пусть пьяной, окровавленной, жестокой, но н а ш е й... Довольно чужими задворками, на хлебах из милости, как нищая старушонка, скитаться по белу свету и быть всегда, как собака, ощерившаяся над помойной ямой, и все ожидающая, что ее обдадут кипяткой. Довольно! Домой!».

Какой странный путь «домой» избрал для себя этот темпераментный генерал, мечтающий оказаться той самой «белой лошадью», на которой, будто бы, в'едет в Россию новый Романов.

X.

„Поступившие в эмигранты".

В устах генерала П. Н. Краснова не удивляют мечты о белой лошади и то своеобразное презрение к черни и плебеям, ко всем этим «хамам», которые посмели бунтовать, каким проникнуто каждое слово этого атамана.

Его психология простая и несложная: «Молчать! Не рассуждать», и все тут. Но как понять, как об'яснить психологию хотя бы В. Л. Бурцева, всю жизнь гордившегося кличкой революционера, а на склоне лет возмечтавшего душевно слиться с генералом Врангелем.

Не пересчитать, не перечислить тех высот, до каких добирался В. Л. Бурцев, целые годы истерически повторявший, что «большевики кончатся через две недели».

Обратило в свое время внимание такое хотя бы выступление этого «старого революционера»: «Рабы не будьте, по крайней мере, лакеями» — так эффектно была озаглавлена его статья, обращенная к интеллигентам, пошедшим на советскую службу.

Это изумительное выступление не осталось без отповеди даже на страницах эмигрантской печати.

Это мы, мы, дезертиры, покинувшие нашу родину, мы, не желающие ни мучиться, ни рисковать нашей драгоценной жизнью; это мы, сытые и благополучные, кричим «Рабы» — нашим братьям, оставшимся в России?!

Ведь надо же сознаться: если бы мы были в Сов. России, — огромное большинство из нас тревожно искало бы советской службы и советского пайка в Совнархозе, в Наркомпросе, в Губпродкоме, или Пролеткульте. Но мы здесь, за рубежом, и мы спасшиеся, кричим тонущим: «Рабы», «Лакеи», «Хамы».

Что это? Дошедший до предела цинизм, или жалостная попытка истерическими выкриками заглушить угрызения совести?».

Но В. Л. Бурцев остался на прежней позиции. Увы, он не одинок. Мечты о прошлом, о России, где по злому выражению Тэффи было в ресторанах «турнедо за полтора рубля» — затуманили не только его глаза.

Ничуть не лучше, например, чем статья Вл. Бурцева — «Рабы, не будьте лакеями» — и статья А. И. Куприна о «коммунизме, представленном сволочью». «Им — пишет А. И. Куприн: — им и не снилось жить так чудесно, как в теперешние катастрофические времена, всем этим бывшим денщикам, сортирным дамам, каторжникам, и судомойкам».

Но ведь никто лучше, чем беллетрист А. И. Куприн не знает, что губернатор и денщик, судомойка и графиня — все одинаково люди, живые люди... Отчего же художник А. И. Куприн не сообщит этого публицисту А. И. Куприну? Зачем же все эти компрометирующие— не только автора, но, я сказал бы, и всю буржуазную культуру! — злобные крики о «хамах» и «сволочи»?

Если в свое время, когда герой купринского «Поединка», пророчески проповедовал: «Будут дни и нас, офицеров, будут бить...: мы заслужили это. Нас будут бить по лицу, на улицах, на площадях, в ватер-клозетах...», — если тогда мы не понимали, что радоваться тут нечему, что на злобе и злости новой России не построишь, — то теперь, теперь мы обязаны понимать это.

Но именно эти, оказавшиеся пророческими, трагические слова А. И. Куприн поторопился вычернуть из

нового заграничного издания своего «Поединка», и на этом успокоился.

Какая-то эпидемия, особая болезнь поправения, как мы уже указывали, поражает «оторвавшихся от России, «поступивших в эмигранты писателей». И первое, в чем сказывается главный симптом этой опасной болезни — это бесплодие.

Эпидемия поправения — это раньше всего эпидемия злобы и ненависти. Не со вчерашнего дня начался этот процесс, извращающий и стиль и содержание писательской работы. — «Замечаю, что на юге России мне начали дерзить», — писал в ответ на такие указания Ив. Бунин еще в те времена, когда оказавшись в белом стане, редактировал в Одессе свое отважное «Южное Слово».

Умный и чуткий художник, он как будто ослеп, кинувшись в политику. И когда, напр., в печати была резким неодобрением встречена монархическая книга Ив. Наживина «Что же нам делать?», — г. Ив. Бунин счел удобным выступить на защиту Наживина следующим, воистину неожиданным, способом. Наживин-то Иван бесспорно русский человек. А не принадлежат ли хулители Наживина к еврейской нации? Пусть они помнят, что «нельзя же так шпынять Фому у него в дому».

«Траур», — назывался краткий ответ редакции газеты, поместившей неодобрительный отзыв о книге Наживина. — Мы дожили до времени, когда почетный академик Ив. Бунин в литературном споре считает возможным требовать паспортного досмотра: «а не из евреев ли противник?».

— Траур, траур!

Но злоба и ненависть прочно застилают глаза охваченных эпидемией поправения, и позиция И. А. Бунина осталась неизменной.

«Замечаю, что на юге России мне начали дерзить. Мне, милостью божией, не последнему сыну моей родины, неуместно отвечать базару», — заявлял он в пе-

чати. А базаром то были «Одесские Новости», старая и почтенная газета.

Впрочем, после «Дневника» З. Н. Гиппиус — новые примеры «перерождения тканей» в психике писателей, поступивших в эмигранты, уже поразить не могут.

До чего резко сказывается эпидемия поправения на самом стиле писателей.

Никогда так часто и с таким смаком не употреблялись слова «хамье», «сволочь» и т. п.

— Эх ты, сопливая! — счел, напр., возможным закончить свое обращение к группе общественных деятелей А. И. Куприн.

Еще грубее пишет теперь способный Ал. Яблоновский — Красноармейским бы коленом, да в коммунистический зад, — мечтает он в печати, и именно эти образы неразлучны для него с Россией:

«Было сто пятьдесят миллионов болванов, да их всех вши с'ели».

Это не только внешняя грубость. Это серьезнее! Г. Ал. Яблоновский считает, напр., возможным полемизировать путем охаивания самой наружности противника. Л. Мартов, напр., представляется ему уродливым, и он подробно описывает «гнома, страдающего катаром желудка».

Но ведь не всем же обязательно быть такими красавцами, как сам Ал. Яблоновский!

При этой манере фехтовать не рапирой, а оглоблей — г. Ал. Яблоновского, естественно ничуть не шокируют печатающиеся рядом с ним в «Общем Деле» «политические документы», вроде торжественного утверждения, что «В. Винниченко 20 лет тому назад заболел сифилисом»...

Далеко можно докатиться по этой дороге!

Можно бы создать особую хрестоматию из тех ругательств, какими эмигрантская печать систематически осыпала Горького.

— Русская интеллигенция, — дословно уверяло «Общее Дело» — в виду недавней болезни Горького

только и думала: «Чтоб он сдох поскорей». И доктора беспокоить, будто бы, незачем: «Зачем этакую сволочь лечить?».

Еще лучше книга, посвященная М. Горькому Евг. Чириковым под названием «Смердяков русской революции».

«Горький хам, Горький босяк, Горький лакей, Каин, Иуда, Пилат, предатель, убийца», — вот пышный букет, заботливо собранный — дословно — для «гнуснейшей фигуры» М. Горького благородным рыцарем Е. Чириковым.

Пусть не кажется, что все эти примеры поправения не имеют особого значения. Поправение — это раньше всего злоба и ненависть. А ненависть и злоба — всегда бесплодны.

По всему свету раскинуты теперь русские книгоиздательства.

Но посмотрите, что в подавляющем большинстве издают все эти издательства, и вам станет страшно за судьбу русской литературы!

«Когда поэт и пророк начинают лгать, бог карает его бессилием, — таков закон вечной справедливости» — сказано в недавно опубликованном посмертном письме Леонида Андреева к Н. Рериху.

Если вырождаются и гибнут, поступивши в эмигранты даже подлинные художники, — то чего же и ждать от рядовых публицистов. Чуть не самые мрачные страницы белых мемуаров написаны именно теми, кто до революции считался представителями демократических течений.

Любопытно отметить, что и максимальная старательность в этой области г.г. Гессенов не улучшает той оценки, какую они получают в генеральско-монархическом стане.

Предо мной лежит, напр., следующий изумительный документ. «Казачий Сборник», — так называется изданный в Берлине журнал Лихтенгофтской казачьей станицы, заключающий этот документ.

Без малейших недомолвок, без каких бы то ни было прикрытий и без фигового листка высказывается здесь как раз то самое, о чем более умные из идеологов реставрации и «руководителей» считают обычно необходимым до поры, до времени помолчать: В статье «известного писателя Ивана Родионова», особо рекомендуемого в издательском предисловии, читаем воистину золотые слова о том, что «Ленины, Ульяновы и — Гессены, Чичерины и — Каменки, Красины и — Пасманники представляют собою, оказывается, точь в точь одно и то же: «Когда одни Каиновы сыны проделывают свое бессовестное действо в России, — их братья и сыновья, все эти Гессены, Каменки, Пасманники и др., здесь, за рубежом продолжают черное дело своих достойных родственников», большевиков.

Для господ правых, для всех этих ген. Красновых и Ив. Родионовых, пылко призывающих эмигрантов к возрождению России, путем обращения к новому венценосцу, для них, пылающих местью и мечтающих о намыленных веревках, нет разницы между Ульяновым-Лениным с Чичериным и г.г. Гессеном и Каменкой:

«Не надо обольщаться — читаем мы в «Казачьем Сборнике», — тем, что они разбились на отдельные, как будто даже враждебные политические партии, что здешние господа на бумажном поле с азартом воюют со своими родственниками-большевиками. «Милые бранятся, только тешатся». И партийная грызня их, и бумажная война их, и азарт их — одна видимость, провокация, фальш и надувательство. И те, и другие одного поля ягоды».

Эта вот чрезмерная откровенность г. Ивана Родионова, как оказывается, не понравилась кому-то из «руководителей казачества». В поступивших в продажу экземплярах журнала «Казачий Сборник» наиболее резкие места густо замазаны черной краской, памятной по царским дням цензурной «икрой». Эта любопытная и характерная заботливость только подчеркивает значи-

тельность и важность того, о чем проговорился г. Родионов.

Позиция правых идеологов выяснена здесь с яркой и исчерпывающей полнотой. Фигового листка нет. Последние стеснения отброшены.

Гг. Гессены, Каминки и Пасманники, так пламенно распинающиеся за правых, и стремящиеся положить свой живот на алтарь гг. Красновых, имеют теперь уже и документальные доказательства что «в случае чего» они будут повешены одновременно с Чичериными и Красиными.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Этот старый лозунг уже не исчерпывает положения и устарел. Теперь этот лозунг модернизирован, дополнен и исправлен: «Мавр сделал свое дело, мавра надо повесить на ближайшей осине».

Этот эффектный лозунг даже не скрывается, о нем об'являют во всеуслышание, а бедные мавры, гг. Гессены, Каминки и Пасманники все также усердно продолжают свою тяжелую и неблагодарную работу.

Все усилия, какие пускались в ход, чтобы обеспечить успех белых генералов: Деникина, Врангеля и др., пока они еще действовали, как будто механически, по инерции применяются Гессенами эмигрантской печати уже и после того, как генеральское движение давным давно бесславно ушло в прошлое.

Понимают ли они всю безнадежность этих попыток гальванизировать труп, который давно уже «трехднсвен»?

XI.

„Архив русской революции“.

Вчитываюсь в последние книги издаваемого И. В. Гессеном «Архива Русской Революции», вышедшие в свет уже через много времени после конца врангелевщины.

Эти типические «белые мемуары» о многом говорят теперь вполне откровенно, как если бы на обложке «Архива» не существовало сакраментальных слов «Издаваемый И. В. Гессеном».

Всмотримся хотя бы в пятый том этого «Архива».

До чего явным стало многое, остававшееся тайным еще так недавно.

Не поздно ли?

Бывают такие положения. Уже и певчие «Исайя ликуй» возгласили, и свидетели уже в книге расписались, и шампанское выпито, и гости уже раз'ехались, и вот в этот только момент — молодую новобрачную охватывает вдруг жажда искренности, правды, во что бы то ни стало.

О, она слишком честна, чтобы скрывать, что бы то ни было!

— Как? И Иван Петрович? — испуганно спрашивает молодой муж. — Да, и Иван Петрович, и Николай Владимирович, и кузен Женя, в кустах, и корнет Петя, после бала. Я от тебя ничего не скрываю, милый! После Дмитрия Иваныча удалось, видишь ли, во время захватить, аборт сделали, а от Петра Николаевича — де-

вочка, уже взрослая теперь, славная такая. В деревню на воспитание отдана.

— Неужели? Да не может быть? — лепечет потрясенный муж.

Но все, оказывается, может быть. И еще, и еще рассказывает искренняя и правдивая жена. Она — честная женщина, она — правдивая женщина. Ничего скрывать она не может и не хочет.

— Я, конечно, очень ценю эту твою искренность и правдивость. Но где была р а н е е эта твоя благородная откровенность? — робко думает счастливый супруг. — Отчего вчера, три месяца тому назад, отчего до свадьбы ты, милая моя, не рассказала, хотя бы одну сотую всей этой святой правды. Я бы знал, как себя держать. Но тогда ты скрывала, пламенно отрицала все, и только теперь, когда уже поздно, — ты так странно полюбила искренность и правду!

«Архив русской революции» не случайно получил шутливое название «Архива контр-революции». Слова «издаваемый И. В. Гессеном», обозначенные на обложке, — обязывают. Генерал П. Н. Краснов, генерал А. С. Лукомский, баронесса М. Д. Врангель, баронесса Фрейтаг-фон-Лорингофен, — вот авторы, какие почти исключительно встречаются на страницах вышедших доныне пяти томов «Архива».

Монархисты, октябристы и правые кадеты,—дальше этого не считает возможным итти принц Ульштейнский. Ни одного эс-эра или эс-дека с их воспоминаниями и мемуарами никак не увидеть на генеральских страницах «Архива».

Чуть ли не единственные, кто, с точки зрения «Архива», компетентен в делах революции, — это старые царские генералы. К ним у И. В. Гессена «влечение, род недуга».

Но и эти источники не страхуют от неприятной правды, по нынешним временам.

Вчитываешься в фактические данные пятого тома «Архива» и все ярче видишь перед собой ту странную

дамочку, которая только после свадьбы считает благовременным рассказать мужу правду о своем исключительно-бурном и сенсационном прошлом.

— Милая, где ты была раньше? Почему, ах, почему ты раньше так красноречиво молчала? Зачем, для чего ты так настойчиво отрицала факты?!

* * *

Дневники и документы А. А. Валентинова дают материалы относительно Врангелевской эпопеи. Материалы яркие и ценные, но до чего же резко противоречит каждая строка всему тому, что тот же И. В. Гессен с упрямством параноика печатал и печатает в своем «Руле».

«Фонарная деятельность» крымских генералов, вешавших на фонарных столбах «несчастных и отчаявшихся людей» — очерчена здесь правдиво и с полным знанием дела: «Деятельность ген. Кутепова в этом направлении достигла таких размеров, что вызвала решительный протест симферопольских земства и города, заявивших, что население лишено возможности посылать своих детей в школу по разукрашенным ген. Кутеповым улицам» (стр. 9).

Верить ли глазам своим? Ген. Кутепов, этот «доблестный вождь», столь настойчиво прославляемый газетой И. В. Гессена, в качестве «рыцаря без страха и упрека», — оказывается на страницах книги, изданной тем же И. В. Гессеном, заурядным вешателем, украшающим фонари и трамвайные столбы гроздьями из человеческих тел?

Увы! И о генерале Врангеле аттестация оказывается ничуть не лучшей. «Повесьте их там», — советует, например, Врангель военно-морскому прокурору Ронжину, — в беседе о каких-то двух полковниках, начальниках отдельных частей» (стр. 19).

Если таковы распоряжения о полковниках, то чего же ждать, когда дело касается штатских? Не все распо-

ряжения ген. Врангеля выносит печатный лист. О некоторых мемуаристу приходится отзываться глухо: «это не генерал, а з....ца», — говорит, например, Врангель. «Главком прислал Наштаглаву нецензурную телеграмму. Комплименты относятся ко всему командному составу» (стр. 48). Каковы эти нецензурные приказы, мы не знаем, но, судя по тому, что резолюция Главкома о некоем полковнике Т.: «По моим сведениям, полковник Т. — прохвост. Надо проверить. Врангель» — посылается без конверта, открытой, чрез комендатуру, где служит этот полковник Т. (стр. 51), можно думать, что даже и цензурные резолюции, посылаемые закрытыми, — гораздо крепче. После этого не удивляет сообщение о торжественной речи Главнокомандующего с паперти собора «к народу», где он «очень резко говорил об еврейском засильи» (стр. 18).

Не продался ли, однако, большевикам г. И. В. Гессен, печатающий ныне все эти сенсационные сообщения? Не записался ли он в «прислужники палачей»?

Картина врангелевского периода, как она рисуется в пятом томе «Архива», воистину потрясающа.

Когда представители союзных армий Франции, Англии, Америки и пр. приезжают, чтобы посмотреть укрепления Перекопа, — то в виду того, что никаких Перекопских укреплений не существует — знатных иностранцев, вместо Перекопа, обманно везут в Таганаш (стр. 58). Сойдет! Где-ж иностранцам разобраться. Тем более, что если укрепления и в Таганаше — плохи, то казацкая джигитовка, «умыкание невест», какой угощают иностранцев, оказывается, очень хороша и эффектна.

В самый день официального сообщения о признании Францией правительства ген. Врангеля, начальник французской военной миссии в Севастополе принужден обратиться к Главкому с горькой жалобой на то, что его, начальника миссии, в этот исторический день избили в Севастополе» (стр. 40).

Это избиение кажется символом. «О нашей армии население сохранило везде определенно скверное воспоминание и называет ее не добр-армией, а г р а б ь- а р м и е й (стр. 17) — читаем мы здесь. — «Бабы, не стесняясь говорили: «Те (большевики) хоть мануфактуру доставили, а вы что?» (стр. 49).

Надо ли останавливаться на отдельных деталях? Тут и торжественные заявления врангелевского министра земледелия, т. с. Глинки, об ожидании «державного хозяина» с «всеоб'емлющей царской властью» (стр. 26), и «система раздевания пленных», и «ошибки», вроде уничтожения летчиками своих (стр. 24), и такая постановка интендантства, при которой все доставленное англичанами снаряжение — уходит в тыл, а на фронте оказываются люди, имеющие, вместо полушубков, — мешки набитые соломой (стр. 75). Надо ли останавливаться, далее на отдельных героях из командного состава, вроде князя М., который «знаменит тем, что ухитрился повесить в течение двух часов 168 евреев» (стр. 50), и который оказывается вовсе не князем, или вроде полковника, который, чтобы не итти на фронт, уверяет Врангеля, что он «должен состоять в распоряжении епископа Вениамина».

— Что-о? Я вам кадило прикажу в руки дать! — кричит Врангель. — Будете ходить и кадить. От фронта уклоняетесь? Как вы смеете!.. (стр. 18).

Картина, думается, и без того ясна. «Ночи безумные, ночи бессонные», — так уже в самом начале врангелевского периода характеризует положение генерал-квартирмейстер ставки.

* * *

С тяжелым и болезненным чувством оставляешь описание врангелевской эпопеи. Рядом напечатаны относящиеся к деникинскому периоду воспоминания ген. Краснова. Может быть эта эпоха является иной?

Увы! Здесь картина оказывается еще хуже.

«Ген. Деникин был не способен к творчеству и погубил все дело» (стр. 278). «Ген. Деникин гнался за популярностью». «Он уже не был ни солдатом, ни горячим патриотом, он был политиком» (стр. 234). «Стыдно и больно писать. Ослепленные вожди и политиканы добровольческой армии марают белое знамя Корнилова» (стр. 261). «Жутко и неприятно и противно смотреть на эту шумиху, на эту мишуру» (стр. 262).

Характеристики деятелей армии, даваемые ген. Красновым, потрясающи: «Генерал Семилетов, командовавший партизанами из такого далека, где не слышны пушечные выстрелы, удаленный за неправильно составленные отчеты, ген. штаба полковник Гнилорыбов, удаленный за трусость, генерал-лейтенант Семенов, обвиненный в лихоимстве, ген. штаба полковник Бабкин, удаленный за трусость и глупость, ген.-майор Сидорин беспринципная и нечестная личность» и пр., и пр., и пр., (стр. 315).

Не следует думать, что эти полемические красоты только теперь родились из под пера б. донского атамана, ген. Краснова. Нет! В самый разгар деникинской деятельности такого рода полемика была еще крепче. Когда донского атамана упрекали за его сношения с немцами, он счел необходимым даже официально высказаться о «голубиной чистоте» добровольческой армии и на собрании Круга заявил:

— Да, да, господа. Добровольческая армия—чиста и непогрешима. Ведь это я, донской атаман, своими грязными руками беру немецкие снаряды и патроны, омываю их в волнах тихого Дона, и чистенькими передаю добровольческой армии. Весь позор дела лежит на мне» (стр. 207).

Еще эффектнее тот вид полемики между донской и добровольческой армиями, кторой «заведывал» нач. донского штаба ген. Денисов: — Добровольцы, устраивавшие пьяные кутежи со скандалами, — пишет ген. Краснов: — пустили по адресу Войска Донского крылатое слово: «Всевеселое войско Донское». Дон-

ской штаб не остался в долгу. — Мы имеем территорию и народ, — ответил нач. штаба: — Войско Донское это не странствующие музыканты, как добровольческая армия».

Этот ответ, как оказывается, был передан Деникину, и добровольческий штаб не пожелал остаться в долгу. Полемический ответ деникинского штаба был немногословен, но выразителен: «Войско Донское — это проститутка, продающая себя тому, кто ей заплатит».

Не остался в долгу и Донской штаб. — «Скажите Добровольческой Армии, что если Войско Донское — проститутка, то Добровольческая Армия — есть кот, пользующийся ее заработком и живущий у нее на содержании». (стр. 205).

Всю эту веселую полемику ген. Краснов печатает курсивом. Он рад случаю свести старые счеты, и должно быть даже не понимает, какое потрясающее разоблачение всей «белой мечты», какой позорный приговор всему белому движению содержат эти его самодовольные воспоминания. Вот они, спасители России, нарисованные во весь рост их же собственными руками! Столь неизмеримы потоки человеческой крови, пролитые этими людьми, и вот, даже не трагедия, а пошлый и жалкий фарс открывается заботами И. В. Гессена перед широко раскрытыми глазами современника!

* * *

Оставим в стороне и деникинский период. Вот, в пятом томе «Архива» помещены еще отрывки из воспоминаний ген. Лукомского о Корнилове и Алексееве. Пусть эпопея Деникина и Врангеля выродилась в жалкий фарс. Что сообщит нам И. В. Гессен о первоначальных, так-называемых «святых временах» добровольческого движения?

Но что это? Неужели и эта эпоха, эпоха Корнилова и Алексеева — оказывается не лучше?

«Формировать добровольческие донские части вызвалось довольно много желающих. Разрешение на формирование партизанских отрядов давалось чуть ли не каждому просившему. Появилось много авантюристов, иногда просто разбойников, которые с целью личной наживы грабили население» (стр. 145).

Но, быть-может, эта разруха не касается хотя бы верхов, и по крайней мере сами-то генералы Корнилов и Алексеев — это фанатики, думающие только о спасении России. Увы! По рассказам ген. Лукомского, — Корнилов и Алексеев выглядят совершенно иными. Они резко ссорятся между собой, терпеть не могут друг-друга. Никто из них подчиниться другому ни в каком случае ни за что не желает. Параллельная их деятельность — вызывает постоянные трения. Ген. Алексеев в отчаянии предлагает Корнилову такое решение: «Вы, Лавр Георгиевич, поезжайте в Екатеринодар и там совершенно самостоятельно приступайте к формированию частей добровольческой армии, а я буду формировать здесь, на Дону».

Но и от этого Л. Г. Корнилов категорически отказывается.

— Это было бы еще хуже, — говорит он.

«Если бы я на это согласился, — то мы, Михаил Васильевич, уподобились бы с вами двум содержателям балаганов, зазывающих к себе публику на одной и той же ярмарке» (стр. 140).

Разрешения больного вопроса о взаимоотношениях между ними так и не нашлось, «один другому подчиниться не мог» (стр. 153).

Но, что всего сенсационнее в «Воспоминаниях» ген. Лукомского, — это страницы, посвященные разоблачению похода Корнилова на Петроград. До сих пор официальная белая версия — сводилась к трагической «путанице», созданной В. Н. Львовым, и «небывалой провокации» А. Ф. Керенского. О подлинном мятеже Корнилова против временного правительства и речи быть не могло.

Но вот теперь Лукомский совершенно по новому рассказывает все детали дела. «Выступление Корнилова» произошло, как известно, только 27 августа. Но, как оказывается, за три недели до того, еще 6 августа ген. Лукомский уже получил предписание от ген. Корнилова «сосредоточить в районе Невель — Н.-Сокольники — Великие Луки третий конный корпус с кавалерийской туземной дивизией».

— Но почему же в этом районе? — удивляется ген. Лукомский.

— Этот район, видите-ли, удобнее. Отсюда конницу можно будет и на северный, и на западный фронт направить.

Ген. Лукомский поражен. — Я, конечно, сейчас-же отдам необходимые распоряжения, — говорит он: — но у меня получается, Лавр Георгиевич, впечатление, что вы чего-то не договариваете. Вы мне не доверяете и я считаю нужным уйти в отставку. Выбранный вами район для конницы очень хорош на случай, если бы ее надо было бросить на Петроград, или на Москву. Для фронта это место не годится»...

Ген. Корнилов несколько секунд подумал, и потом ответил:

— Вы правы! У меня есть некоторые соображения. Мы с вами после подробно поговорим» (стр. 105).

И когда 11 августа наступает пора этого подробного разговора, какие изумительные вещи сообщает А. С. Лукомскому ген. Корнилов. — Пока у власти останутся слизняки временного правительства, совет рабочих и солдатских депутатов останется безнаказанным. Пора с этим покончить! — заявляет Л. Г. Корнилов. Уже за две недели до своего выступления, он и не думает скрывать, что карательная экспедиция затевается им и направляется не только против большевиков, но и против советов, в те дни определенно меньшевистских!

«Пора немецких ставленников и шпионов во главе с Лениным повесить, а совет рабочих и солдатских депутатов разогнать, да так, чтобы он нигде и не со-

брался — дословно заявляет Корнилов. Согласится ли на это временное правительство или нет — это безразлично. Ген. Корнилов уже за три недели до выступления совершенно определенно заявляет, что «конный корпус он передвигает для того, чтобы к концу августа подтянуть его к Петрограду, и расправиться с предателями. Руководство этой операцией я хочу поручить ген. Крымову. Я убежден, что он не задумается в случае если это понадобится, — перевешать весь состав совета рабочих и солдатских депутатов» (стр. 108).

До чего резко изменяют все эти, опубликовываемые ныне И. В. Гессеном, разоблачения весь облик ген. Корнилова, рисовавшегося доселе жертвой «провокации» А. Ф. Керенского и «путаницы» В. Н. Львова.

* * *

Среди исторических материалов, опубликованных в пятом томе «Архива», хочется особо выделить роль прессы. Поддерживать генералов — вот идеология этой прессы. Каких генералов, Корнилова, Деникина, Врангеля — безразлично. Были даже особые «Кутеповские», «Слащевские» и т. п. газеты (стр. 31).

Очень характерны, конечно, и персональные заслуги всех этих Сувориных, Бурнакиных, Ножиных и т. п. деятелей печати. Вот, напр., после выхода сотого номера врангелевского «Вечернего Слова» устраивается «юбилейное» чествование газеты. На эстраде кинематографа, рядом с редактором газеты, г. Бурнакиным,— восседает не только генералитет, — обер-квартирмейстер ставки ген. Врангеля, начальники политических отделов штаба и т. п., но даже и епископ Вениамин в клобуке. Г. Бурнакин произносит торжественную речь о том, что государственность для защиты ее должно огородить «частоколом, сплошь утыканным головами непокорных». Бубны, тимпаны и литавры! А через несколько дней разыгрывается грандиозный скандал с «патриотическим гулянием», устроенным все тем же

патриотическим Г. Бурнакиным. На расходы по оплате работы г. Бурнакина и сотрудников его газеты истратили, как оказывается, четыре с половиною миллиона. Одного вина для выступавших господ ораторов истрачено оказалось 27 ведер на двести сорок пять тысяч руб. (стр. 29).

Но дело вовсе не в персональных, а именно в общих свойствах всей этой поддерживавшей генералов печати. «В Совнаркоме укладывают чемоданы». «Бьет двенадцатый час в Совдепии» уверяли органы этой печати, дружным хором прославляя «безусловную неприступность» перекопских укреплений, которых никогда не было на свете. «Накануне победы»—называется статья, напечатанная в газете «Время» Бор. Суворина за несколько дней до эвакуации Врангеля. «Настроение у всех бодрое и веселое» — сказано в этой статье: «Ген. Врангель ходит веселый, значит все хорошо. Без сомнения, мы накануне победы, и победы еще не виданой! Радость ощущается и в бодрых, веселых лицах штабных, и среди штатской публики» (стр. 76). «Население полуострова может быть совершенно спокойно — уверяла газета «Время» за двое суток до прорыва Перекопа: «Армия наша настолько велика, что одной пятой ее состава хватило бы на защиту Крыма. Укрепления Перекопа настолько прочны, что у красного командования ни живой силы, ни технических средств не хватит. Войска всей красной совдепии не страшны Крыму!» (стр. 82).

Тридцатого октября Перекоп был уже сдан, и раздетая, обмороженная, голодная, обезумевшая армия Врангеля в панике покатилась к морю, но еще и на завтра после этого, 31 октября, в три часа дня, газета «Курьер» в Севастополе вышла с аншлагом на всю страницу: «Тревоге не должно быть места».

Не думает ли И. В. Гессен, ныне патетически разоблачающий все это позорище на страницах своего «Архива», что в его устах автобиографическими кажутся все эти сообщения? Разве не этой же, подлой и

предательской системой патриотической лжи и постоянного «ура», — держался все эти годы, держится еще и ныне, его, влюбленный в генералов, «Руль»? Теперь г. Гессен, как наблудившая дамочка после свадьбы, выступает в пятом томе «Архива» с поздними признаниями. И эпоха Корнилова и Алексеева никуда не годилась, и все движение ген. Деникина было гнилым, и Врангелевская эпопея оказывается сплошной позор.

Теперь г. Гессен стал настолько смелым, что считает удобным разоблачать детали даже семейной жизни ген. Врангеля: «Когда 31 октября на английском миноносце прибыла в Крым из Константинополя баронесса Врангель, — главнокомандующий отдал категорическое приказание не выпускать ее на берег» (стр. 90).

Теперь г. Гессен стал настолько умным, что высмеивает картины небывалой по размерам Крымской эвакуации: ген. Врангель с чинами своего штаба, ген. Шатиловым и ген. Коноваловым, в день эвакуации посылают официальное письмо от имени главнокомандующего к верховному комиссару Французской республики, графу де-Мартель. Происходит заминка с номером. — Каким номером исходящей пометить это историческое послание? — Чего там долго думать, — решают генералы: — вы какой одеколон употребляете? № 4711? Ну, и великолепно! Ставьте этот номер и отправляйте бумагу, чорт ее бери!

Теперь г. Гессен на страницах «Архива» притворяется смелым и умным. Но разве не он на страницах «Руля» вел и продолжает вести линию прославления доблестных генералов и уверения в неприступности несуществующих укреплений? Разве он, по типу разоблачаемой им ныне крымской «Равняйсь-Прессы», не продолжает уверять, что «Бьет двенадцатый час совдепии», что «в Совнаркоме укладывают чемоданы» и сбивать с толку затерянную и заблудившуюся эмигрантскую массу?

И если велики и несмываемы грехи и преступления всех этих малограмотных и пьяных Бор. Сувориных и

Бурнакиных, — то во сколько раз серьезнее грехи И. В. Гессена, имеющего и кое-какие традиции от времен газеты «Речь» и кое-какой научный багаж!

Дамочка, после свадьбы рассказывающая мужу о том, что было у нее с кузеном Женей в кустах и с корнетом Петей после бала, — это сравнение не исчерпывает позиции И. В. Гессена, взятой им ныне в пятом томе своего «Архива». Как ни поздно заговорила правду дамочка, но на некоторое самопожертвование она все же идет. Она рассказала правду после свадьбы, но ведь ей — все же предстоит жить с мужем. Как ни поздно кается она, но, быть может, есть все же и некоторая доля искренности в этом покаянии.

Нет, И. В. Гессен не похож и на эту героиню. Перед нами не дамочка, а этакий бравый бранд-майор, опытный ловелас с Kochstrasse. Он знает, когда надо помолчать, а когда выгодно заговорить.

Дамочка — та раскаивается в своих грехах. — Я грешила, — таковы ее признания. И. В. Гессен говорит о грехах чужих, — вот его выгодная и удобная позиция.

Не жена, которая говорит мужу о своих прегрешениях, а бравый бранд-майор, который, покручивая усы, сообщает о своих победах — Да-с, была игра! И с вашей женой, у Перекопа, повеселились, и с ихней супругой, на Дону, побаловались, и вашу благоверную, на Кубани, по мере сил развлекали. Да-с, была игра.

Пятый том «Архива», как мы видели, принес очень много ценного и значительного материала, горько и трагически разоблачающего все, что писал «Руль» и о ген. Корнилове, и о ген. Деникине, и о ген. Врангеле с Кутеповым.

Какое удачное совпадение сказалось в том, что все эти убийственные материалы увидели свет в пятом томе «Архива» именно тогда, когда председатель союза русских журналистов в Берлине, редактор издательства «Слова» и газеты «Руль» Иосиф Владимирович Гессен, в качестве нэпмана,—открыл книжный магазин «Слово» в Москве, на Петровке.

«А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, была бы только Россия во славе и благоденствии».

* * *

Но, может быть, данный том «Архива русской революции» представляет собой исключение?

Всмотримся еще в один том, чтобы получить окончательное и исчерпывающее представление об этой разновидности белых мемуаров.

На этот раз пред нами седьмой том. В нем оказываются сообщения еще более «сенсационные», откровенность еще более потрясающая.

— У меня есть целый штат прохвостов, то-бишь агитаторов, обучавшихся в особой школе, — хвастает заведующий пропагандой при добровольческом штабе: — образованные мерзавцы! Они ездят, по моим инструкциям, для провокации.

— Как же вы пропагандируете?

— Иду я, или один из моих негодяев по улице, и вижу: солдат без ноги, без руки, пристает к публике: «подайте жертве германского плена». Я к нему: «желаешь получать сто на день?» Ну, конечно, желает. Так вот что, братское сердце: вместо того, чтобы без толку голосить «жертва германского плена», — голоси: «жертва большевистской чрезвычайки». Понятно?! Говори про чрезвычайку, ври, что в голову прилезет и получай сто целковых на пропой души» (стр. 221).

Как оказывается, эта хитроумная система не всегда приносила «Освагу» желательные результаты: «Пьяные, оборванные, наглые люди, благоухая самогонкой, рассказывали об ужасах чрезвычайки и откровенно дополняли свои рассказы:

— По сто целковых платит за эту самую канитель Василий Иваныч. Подайте жертве.

Но и независимо от той или иной успешности белой пропаганды этого рода, есть много пикантного в том,

что в роли разоблачителя этих приемов выступает теперь не кто иной, как редактор Руля», И. В. Гессен.

До чего эффектно! Именно на страницах гессенского «Архива» (т. VII) находим такие сенсационные указания о программе белого движения:

«Восстановить Россию — заявлял еще летом 1919 г. генерал Кутепов, — возможно только при помощи кнута и виселицы» (стр. 108).

Именно здесь рассказывается теперь, как, напр., в одном Мариуполе белые расстреляли четыре тысячи человек:

— «Поставишь его к стенке, — рассказывает «высокий, статный и простосердечный» ротмистр, отличающийся «рыцарством манер и характера», — и начинаешь медленно наводить винтовку. Сначала в глаза прицелишься, потом тихонько ведешь дуло вниз к животу и — бах. Видишь, как он перед дулом извивается, пузо втягивает; как бересту на огне его, голубчика, поводит... Два раза по нем дулом проведешь, дашь помучиться, а тогда уже кончишь. Да не сразу, а так, чтобы помучился досыта» (стр. 229).

Не кто иной, как именно И. В. Гессен, на страницах своего «Архива» считает теперь благовременным не только подробно описывать, до какой степени остро и вполне по заслугам ненавидело население добровольцев, но еще и указывать, что дело было с самого начала безнадежное:

«Уже в мае месяце 1918 г. (!) П. Н. Милюков в беседе стал доказывать, что добровольческая армия сыграла свою роль и теперь самое лучшее, что она может сделать — это «свернуть свое знамя и разойтись, оставив для истории красивую страницу» (стр. 186).

Иосиф Владимирович, голубка! Что же это вы, как же это? До какой отчаянности человек дошел! Так, правду всамделишную и шпарит. Разве можно?

«Здесь, в Берлине этот грех — называют «Сменой Вех», — еще недавно вещал в стихах «Руль».

Но И. В. Гессен закусил удила и понес... Сторонятся от него удивленные народы. «Эх, тройка, птица-тройка! Куда же несешься ты, дай ответ!! Не дает ответа»...

* *

У А. И. Куприна все это описано ярко и весьма вразумительно: «Она шестнадцать лет была классной дамой в институте и пользовалась исключительным уважением у начальства». Долгие годы эта классная дама Куприна остается на посту, суровая, хмурая и подтянутая, и все ученицы боятся ее и трепещут. Но по ночам эта почтенная, всеми уважаемая классная дама,— выходила из института, «вынимала из кармана густую черную вуаль, окутывала ею лицо, и вдруг вся мгновенно изменялась». Это уже не «пунктуальная и строгая» классная дама, а «кокотка, искательница приключений» с совершенно иной и новой, «свободной, развратной, слегка качающейся походкой», ищущая «ненасытного и неутомимого самца».

Классная дама — веселая женщина. Мы видели, как бойко и «с огоньком» описывает «Архив» И. В. Гессена расстрел добровольцами четырех тысяч человек в одном Мариуполе, «медленно, чтобы помучилась досыта». Есть здесь, однако, описания и еще более эффектные:

Вот, напр., полковник Петров с прапорщиком Бельгийским. Полковник оцепляет деревню. Согнано в кучу все население. — Будут расстреляны все мужчины без исключения! — заявляет бравый полковник. Все в ужасе, но полковник, оказывается, — добрый. Он согласен на переговоры, если крестьяне соберут контрибуцию и выставят угощение. Деньги собраны, принесено и ведро самогонки. Пир в полном разгаре, и размякший, подобревший полковник соглашается, вместо расстрела всех, ограничиться расстрелянием десятого. И вот уже «десятых» отвели в сторону, отогнали прикладами жен и детей, и пока полковник Петров распивает самогонку, прапорщик Бельгийский, «не спеша,

с папироской в зубах» одного за другим расстреливает всех обреченных. Пирушка продолжается. Добровольческий отряд следует дальше, не раньше, чем ведро самогонки выпито до дна (стр. 106).

Переверните несколько страниц, и вы найдете и еще более живописный рассказ о том, как добровольцы заставляли «освобожденных» рыть для себя братские могилы и засыпали расстрелянных ими землей еще за живо: «Верите ли, как раки они в той канаве шевелились, пока не засыпали. Да и потом на том месте вся земля шевелилась... Чтоб другим неповадно было». (стр. 208).

А какие усовершенствования, какая техника, какая серьезная подготовка дела в лагере добровольцев, если судить по гессенскому «Архиву».

Смешно даже читать похвальбу некоего молоденького офицера: — Мы рабочих в Ростове успокоили. Я сам вешал: по новому способу. Возьмешь двоих, накинешь петли и через перекладинку: так они друг друга и удавят» (стр. 239).

Тоже, подумаешь, новый способ. Нашел, чем удивить? Тут люди куда же веселее вещи рассказывают. Вот, напр., как «застукали» некоего интеллигента на слове «товарищ». — Мы к нему с обыском, а он, милашка, — «товарищ» говорит. Самый опасный тип. Пришлось его слегка поджарить. Сначала молчал, только скулы ворочаются, ну, потом, когда пятки подрумянили, пришлось сознаться. Распорядились с ним по историческому образцу: привязали к столбу, обвили вокруг черепа веревку, сквозь веревку просунули кол, и — кругообразное вращение. Толпа — я приказал всю станицу согнать для назидания — как поняла в чем дело, — было в бега. Их в нагайки — остановили. Под конец солдаты отказались крутить: господа офицеры взялись. И вдруг слышим: крах! — черепная коробка хряснула. Зрелище поучительное! И что же? В благодарность за даровой спектакль подходит ко мне девица и — харк мне в физиономию! Ну я ее рабу

божию шашкой. Рядом с «товарищем» положили — жених и невеста, ха-ха-ха» (стр. 230).

Нужно ли эту цитату приберечь для будущего, для надмогильной надписи на памятнике И. В. Гессену или, не откладывая, теперь же, выгравировать все эти изумительные слова над входом в редакцию «Руля» в Ullsteinhaus'e.

* *

По ночам, — рассказывает А. И. Куприн о своей классной даме, — «она вела своего избранника в грязную гостиницу и целую ночь на пролет без отдыха предавалась тем наслаждениям, какие только могло изсбрести ее необузданное воображение».

Но ведь на завтра после «чудовищных оргий» героиня А. И. Куприна снова выступала в роли строгой и суровой «классной дамы». Она, по крайней мере, не рассказывала о своих похождениях, не хвастала той грязью, в какой купалась!

Отчего И. В. Гессен не следует этому образцу, а цинично и распоясанно обнажается до последнего предела? О, это понятно. Героиня Куприна тоже скрывалась лишь до поры до времени. Когда ее похождения раскрылись, и возвращение в институт стало невозможно, «она стала цинично откровенна», — так что следователя в рассказе Куприна даже «поразило ее бесстыдство».

— Терять больше нечего, вали во всю!

И бывшая классная дама, простоволосая, в одной юбке, хвастает во всю: — Вас удивляет, как это никто не имел даже и тени подозрения? Ах, это то и доставляло мне страшное удовольствие. Слыть чуть ли не святой и распутничать! Знаете ли, иногда, оставшись одна в своей комнате, я задыхалась от смеха, когда вспоминала об этом. Это было восхитительно!

На страницах одного только последнего, VII тома гессенского «Архива», кроме уже приведенных шедевров, есть и еще, целые залежи:

Вот А. С. Демьянов рассказывает о «подпольном временном правительстве» при большевиках. Подпольное правительство — это, конечно, нелепость. Что за власть, если она прячется под диваном. Но это подпольное правительство умудряется все же делать постановления о выпуске новых денежных знаков (стр. 38), и эта изумительная эмиссия, на предмет оплаты саботажников, благополучно совершается (стр. 39).

Вот Н. Воронович, очевидно, не понимая, в какое положение себя ставит, как он гениально надул большевиков: «Нарядившись в самые старые, рваные шинели, нахлобучив ужаснейшие картузы, обросшие щетиной, которую мы растили в продолжение нескольких дней, с вонючими цигарками во рту»—Н. Воронович с коллегами врывается в кабинет народного комиссара:

— Народный комиссар очень занят, его видеть нельзя, — указывают им.

— То-есть, как это нельзя?.. — возмутились мы. — Чтож он, народный комиссар, или царский министр. Мы — народ, трудящие. Довольно нашей кровушки попито! (стр. 67—68).

Деньги этим способом удалось получить. Удобно ли, однако, этим хвастать на страницах «Архива»?

А далее еще более эффектные рассказы Б. Казановича о том, как он, по поручению Деникина, в 1918 году ездил за деньгами в советскую Москву.

«Будущее рисовалось в благоприятном свете, но деньги были на исходе», и генерал отправился к москвичам. Денег они, впрочем, не дали. В. И. Гурко «даже обиделся» и, вместо денег, предложил «сочувствие влиятельных общественных кругов, что не менее важно» (стр. 191). А. В. Кривошеин тоже денег на армию не дал, но пытался утешить Б. Казановича: «Вам лично мы могли бы дать известную сумму. Это было бы совершенно справедливо, — ведь не для собственного же удовольствия вы ездите» (стр. 197).

Но наиболее эффектно в рассказе генерала Б. Казановича звучат лозунги о «возобновлении борьбы,

впредь до тех пор, пока государь император из Москвы не повелит эту борьбу прекратить», причем о личности этого государя императора сказано откровенно, что деятели «правого центра» были не прочь увидеть на российском престоле «кого либо из германских принцев» (стр. 194).

Кто же станет спорить с тем, что внимательное чтение Гессенского «Архива» чрезвычайно полезно и поучительно?!

* * *

Более яркого бесстыдства, более наглого цинизма не знает русское печатное слово. Проституток, торгующих собой, — на свете много. Но в лице редактора «Архива» пред нами не просто панельная героиня, а именно «классная дама», много лет разыгрывавшая роль строгой и суровой блюстительницы нравов, и только теперь, когда выяснилось, что терять нечего, распоясавшаяся цинично и бесстыдно.

Воистину неисповедимы судьбы революции российской! Недостаточно было убедиться в унылой и бесславной гибели белого движения. Недостаточно было и похорон, какие устроил ему по первому разряду В. В. Шульгин в своих мемуарах. Нужно было, оказывается, чтобы И. В. Гессен самоотверженно взял на себя роль осинового кола на этой могиле, чтобы бесшабашная и распутная «классная дама» проделала ряд циничных жестов на этом унылом кладбище!

XII.

Из потонувшего мира.

Если захотеть отдохнуть от густого цинизма гессенского «Архива» — надо изо всей коллекции «Белых мемуаров» взять в руки воспоминания графини Клейнмихель, вышедшие под лирическим названием «Из потонувшего мира».

Графиня Клейнмихель являет собой живой осколок очень давней эпохи, времен очаковских и покорения Крыма.

— Мемуары той давней эпохи? Вот еще, не надо!

В самом деле. Мы все слишком хорошо помним и «Крещение Руси», — дни октябрьской революции, и perfectum, эпоху Керенского, и plusquamperfectum, дни Николая II. Чорт возьми, мы ведь помним еще и древнюю историю: и 1905 год, и русско-японскую войну, и Гапона, и Витте, и Азефа, и Столыпина. «Каждый сам себе прабабушка» в наши дни, и что нового могут рассказать мне, современнику, мемуары графини Клейнмихель?

«Александр II меня обнял и сказал: Приезжайте в Петербург, я дам вам шифр» (стр. 13). Неужели, и вправду, Александр второй? Не опечатка ли? Нет, не опечатка. «По случаю победы над Шамилем (!) нас освободили от уроков и дали нам шампанского» (стр. 12). «С принцем Уелльским, впоследствии Эдуардом VII, когда мы оба были очень молоды, мы бегали вместе на коньках на пруду в Таврическом дворце» (стр. 155).

Сколько же лет автору этих удивительных мемуаров? «В 1872 году я покинула двор, чтобы выйти замуж» (стр. 68). — Указания такого рода звучат крайне эффектно для книги, выпущенной в свет автором в 1922 году, в Берлине. 60 лет тому назад покинуть двор, — это уже кое что! Хоть бы и самой «Пиковой Даме», так и то впору!

Автору мемуаров оказывается — дай ей бог доброго здоровья — 77 лет (от роду, конечно, а не от Рождества Христова). «Я родилась в Киеве в 1846 году» (стр. 7). Но какой же чудесной бодростью отмечается тон автора, какую ясность отношения к миру и жизни сохранила она.

Со странным и взволнованным чувством читаешь, напр., рассказ автора мемуаров о ее первой любви. Юной девушкой она влюбилась в некоего сорокапятилетнего дипломата, графа Эбергарда фон-Сольмсе.

«Когда я теперь, спустя 58 лет, вспоминаю об этом — мне кажется, что это было лишь фантазией» (стр. 45). Но тогда это было откровением, и решительная барышня, услышав от дипломата, что он, «если бы имел обеспеченное положение», был бы рад предложить ей руку и сердце, — втайне от всех после бессонной ночи скоропалительно пишет германскому императору: «Ваше величество, я люблю одного из ваших подданных. Вы располагаете столькими местами. Назначьте его куда-нибудь, где бы он мог жить совместно со мной».

Вильгельм I отозвался на письмо и исполнил просьбу девочки, назначив ее избранника на вновь созданный пост «заведующего делами императора мексиканского». Но, увы, в Мексике вспыхнула революция, и назначение не состоялось, как не состоялся из-за этого и брак графини.

Вот откуда еще начались личные счеты графини Клейнмихель с революцией, ярко сказавшиеся, как мы увидим, через 60 лет после этого при большевиках.

Нежно и внимательно следишь за этим живым осколком глубокой старины, за этой «пачкой потемневших писем, обвязанной полинявшей ленточкой, бывшей 60 лет тому назад голубой».

Дай бог каждому из нас так же ласково и любовно, так же ясно и по-хорошему, вспоминать свои выцветшие ленточки через 60 лет!

* *

— Графиня Клейнмихель? Позвольте, да ведь ее повесили за шпионаж в пользу Германии еще в начале войны?

Автор мемуаров подробно останавливается на этой истории с повешением. По рассказу графини, виноват во всем Павел Родзянко, брат председателя гос. думы, «видный мужчина, бывший кавалергард, всегда находившийся навеселе и известный скандалами во всех ресторанах».

Графиня Клейнмихель вычеркнула его имя из списка приглашенных на свой бал, и Павел Родзянко публично поклялся, что он отомстит и заставит графиню «проливать кровавые слезы».

Вскоре после этого, графиня «от корреспондента «Русского Слова» Руманова» (милый Руманов!) узнала, что «Павел Родзянко уже в течение 24 часов телефонирует по редакциям всех газет с вопросом: «Вы тоже слыхали, что графиня Клейнмихель послала императору Вильгельму в коробке от шоколада план мобилизации, что она была арестована и теперь уже повешена?» (стр. 196).

В Петербурге стали сразу же известны все детали этой казни. Нашелся даже жандармский полковник, который рассказывал со всеми подробностями, как он лично, в качестве правительственного делегата, присутствовал при повешении. Пошли телеграммы во все концы. Даже шах персидский, и тот прислал телеграфный запрос.

Графиня Клейнмихель, узнав об этом, решает поехать во дворец на высочайший прием, и этим появлением доказать, что слухи о ее смерти несколько преувеличены. Николай II во время этого приема «взглянул на нее добрым взглядом и подал ей руку». «Итак, — говорит автор мемуаров: — нельзя было уже сомневаться, что я жива и здорова».

Этот способ удостоверения принес, оказывается, результаты. После этого картина меняется: «Лакей мне доложил, что Павел Владимирович Родзянко перед своим от'ездом на войну, откуда он может быть и не вернется, спрашивает графиню Клейнмихель, когда она может его принять. Я почти никогда не говорю по телефону, но на этот раз я сама подошла к аппарату и лично ответила, что после того, как меня повесили, я чувствую себя усталой, очень усталой, такой усталой, что боюсь я никогда не буду в состоянии отдохнуть настолько, чтобы иметь честь принять у себя полковника Родзянко» (стр. 199).

Разве не восторг? Как не вслушаться внимательно в то, что рассказывает эта гранд-дама, сохранившая столько темперамента на восьмом десятке жизни!

Как относится графиня к революции? Ну, конечно, именно так, как только она и могла бы относиться к «черни, которая хотела меня арестовать».

Графиня, к счастью, искренна, и не перекрашивается в защитный цвет. В этом и есть главное достоинство ее книги.

Об'яснение революции дает она от этого оригинальное. «Императрица прекратила совершенно давать балы. Вследствие этого многие совершенно утратили интерес ко двору. Многие записались в либералы лишь потому, что им не на что было уже надеяться, в виду невозможности попасть в список приглашенных ко двору» (стр. 179).

Попробуем поверить графине, хотя бы из уважения к ее возрасту. Допустим, что П. Н. Милюков, например, или А. И. Гучков, именно по этой причине «записались

в либералы» и занялись революцией. Но, например, Ленин, или Троцкий? Надо думать, и графиня Клейнмихель согласится, что уж эти то люди приглашения на придворные балы не ждали.

Но у графини есть готовый ответ на все вопросы: «Думаю, что вследствие того, что мы обратили наши виллы и дома в лазареты, — давно уже дремавшая в душах вооруженных мужиков (!) зависть стала расти... Они сравнивали свои душные темные избы и хаты с хорошо проветренными, прекрасно освещенными, украшенными картинами и зеркалами, залами. Когда им давали хорошую пищу, — они вспоминали о своей жалкой деревенской еде» (стр. 183).

Вот оно, в чем дело оказывается! Было бы странно, если бы графиня Клейнмихель думала иначе. Ведь вот, лежит же у меня на столе книжка герцога Г. Н. Лейхтенбергского, который, рекомендуя себя крайне прогрессивным человеком («я решительно ничего не имею против республиканского режима»), уверяет, что февральская революция «была принята всеми классами с полным спокойствием и даже с радостью» потому, что «все верили и надеялись», что революция в царские дни произведет благожелательные реформы «при дворе и в правительстве» (стр. 9).

Вот для чего созданы, собственно говоря, революции. Чего же иного и ждать от мемуаров 77-летней, именно по своему очаровательной и стильной графини.

Пред нами старинный менуэт, певучий вальс Ланнера. Не ждите бравурных звуков Марсельезы, и тем менее Интернационала.

* *

Книга графини написана, как и полагается, на французском языке. На русском языке появился ныне лишь авторизованный перевод с рукописи. Но по содержанию это очень русская книга, это видно из каждой детали.

У себя в имении (в Курской губ., в 60 верстах от станции Клейнмихелево) графиня принимает гостей. Среди них — испанский посол де-ла-Вилла-Гонзало. До чего любопытно всмотреться в это описание визита испанского посла в Курскую губернию.

«На каждой из остановок сельские власти выходили приветствовать графа де-ла-Вилла-Гонзало. Мужики выходили с хлебом-солью. Женщины в красном с желтым (национальные цвета Испании) подносили ему корзины и платки с яйцами. Урядники с верховыми провожали гостя, в качестве почетного конвоя до места назначения. Священник в деревенской церкви, приняв графа за испанского короля, выразил «его величеству» необычайную радость видеть властителя дружественной страны. Один из арендаторов графини превзошел всех: он поднес графу живую курицу, раскрашенную в цвета Испании, — красный и золотой. «Эта курица — лучший день моей жизни», — сказал, прижимая трепыхавшуюся курицу к сердцу, граф в своей «растрогавшей крестьян речи на французском языке».

Кончилось, однако, чествование несколько своеобразно. Испанские национальные флаги, вывешенные по случаю приезда графа, оказались мгновенно раскрадены (стр. 245).

Но вот пред нами другая сфера. Графиня описывает придворную жизнь, пышную и блестящую. Но и здесь — увы! — та же странная вороватость. В Мраморном дворце похищены, оказывается, три крупных бриллианта с иконы, подаренной еще Николаем I своей невестке. Полиция производит строжайшее следствие. Выясняется, что бриллианты украл не кто иной, как великий князь Николай Константинович. Сенсация всеобщая! Особая комиссия под председательством графа Адлерберга решает «признать великого князя душевнобольным, и одновременно — совершенно непоследовательно, лишить его воинских отличий и звания почетного шефа полка» (стр. 64). Проворовавшегося великого князя, — рассказывает эту древнюю историю гра-

финя Клейнмихель, — сослали в центральную Азию. Когда вспыхнула революция, он послал восторженную телеграмму Керенскому с выражением радости по поводу наступления свободы» (стр. 67).

Если великий князь ворует бриллианты, то удивляться ли, что мужики крадут на портянки испанские флаги? Если, как рассказывает в другом месте графиня Клейнмихель, генерал Ренненкампф, «пользовавшийся дурной славой еще после китайского похода», будучи в Восточной Пруссии, отдает особый «приказ разграбить один из находящихся там дворцов и специально выписывает из полка отряд унтер-офицеров с ящиками для упаковки вещей» (стр. 203), — то удивляться ли, что в дни революции матросы украли у графини биллиардные шары?

В доме у графини 33 матроса, пришедшие арестовать ее, как врага народа и шпионку. Графиня больна и остается под домашним арестом. «Иногда матросы просили, чтобы я показала им свои руки, рассматривали их, трогали, обсуждали, могла ли я такими руками стрелять из пулемета по народу, и приходили к заключению, что это невозможно» (стр. 231).

Незадолго до того графиня, по совету врача, «для моциона» научилась играть на биллиарде. «На второй день моего ареста матросы вошли в мою комнату, когда я еще лежала в постели, и унтер-офицер потребовал, чтобы я с каждым из них сыграла на биллиарде. Я ответила: — Вы привыкли к выборам, выберите трех делегатов. С ними я сыграю. Три партии, а не тридцать три».

Три делегата были выбраны, и графиня выиграла все три партии. «На сегодня довольно. Завтра я буду играть с охраной, которая вас сменит». Но игра на биллиарде не могла продолжаться, так как уже первая охрана уходя унесла все биллиардные шары» (стр. 230).

Вот они «представители флота», — вздыхает графиня. Считает ли она и проворовавшегося великого князя полномочным представителем дома Романовых, — об этом графиня не сообщает.

* * *

В книге графини М. Клейнмихель много совершенно новых сообщений. Очень интересны, напр., сведения о Витте. Как, каким образом совершил в царские дни свою карьеру этот человек, превратившийся в сановника из маленького железно-дорожного служащего на станции Фастов?

Графиня Клейнмихель приводит рассказ об этом, услышанный ею из уст самого Витте. «Счастливая звезда» этого будущего сановника воссияла, оказывается, в самый день убийства Александра II-го. Узнав об этом убийстве, скромный служащий на станции Фастов немедленно написал своему дяде генералу Фадееву в Петербург длинное письмо о необходимости «бороться с нигилистами их же оружием: револьверами, бомбами и ядом». Письмо было показано Воронцову-Дашкову, доложено Александру III и, так как письмо «очень понравилось», скромного конторщика сразу же вызвали в Петербург (стр. 103—105). Блестящая карьера юноши была отныне обеспечена.

С. Ю. Витте в молодости выступает не только родоначальником «Священной Лиги», этой первой, еще при Александре III созданной черносотенной организации типа «союза русского народа», но и одним из ревностных членов. «Священная Лига» посылает его в качестве доверенного в Париж, в экспедицию, созданную для убийства революционера, «нигилиста Гартмана», и Витте не только принимает на себя это поручение, но и от всей души радуется деньгам, полученным за это «мокрое дело»: «мне дали 20.000 рублей. Никогда ранее не видал я столько денег» (стр. 107).

С. Ю. Витте считается не без оснований одним из самых приличных людей среди деятелей царского режима. Но и лучшие в этом мире были способны на все. «Один порядочный человек — прокурор, да и тот,

если правду сказать, свинья», как говорил мудрец Собакевич.

Но самым интересным и поучительным изо всего, что рассказывает графиня Клейнмихель, остаются все же черточки, характеризующие революцию. В ее устах описание революционных событий приобретает новую окраску и неожиданное освещение:

«Это было 27-го февраля 1917 года. У меня были мои друзья. Мой дворецкий, старик Андрей, доложил, что кушать подано, и мы пошли в столовую... Вдруг ворвались лакеи, кухонные мужики, повара с поварятами, горничные... «Бегите, бегите... Вооруженные банды идут».

Все шло до такой степени благополучно, нормально, правильно, и вдруг лопнула какая то пружина, и распался сразу весь механизм.

«С непокрытой головой, без пальто, в ажурных чулках и туфлях бежали мы по глубокому снегу. Несколько минут спустя мы увидали в окнах моей квартиры толпу. Мой дворецкий разносил им блюда. Солдаты и матросы чокались с моей прислугой» (стр. 265).

На восьмом десятке старая графиня с ужасом видит, до чего ошибочно было все ее представление о мире и жизни. В этот день — вы подумайте! — «я обедала с сестрами милосердия и стенотипистками. Обед состоял из черного хлеба с сыром и стакана чая» (стр. 273).

Но еще горше, чем физические, оказываются моральные испытания. Уже сэр Джордж Бьюкенен категорически отказался приютить у себя старую графиню («он обещал Милюкову не мешаться во внутренние дела России», стр. 268). Уже старые слуги графини, и те «стали заметным образом изменять свое отношение к нам» (стр. 234).

Уже оказавшийся под арестом император всероссийский Николай II «много читает, чаще всего книги о французской революции (стр. 225) и полковник гвардейского стрелкового полка, которому Николай протя-

гивает руку, «не принял протянутой руки»... «За что? с дрожью в голосе спросил император». «Мои воззрения, полковник, не соответствуют вашим» — сухо ответил тот» (стр. 221).

Все закачалось, все провалилось вокруг старой графини! Уже у нее в доме матросы и солдаты («справа армия, слева флот»), и великий князь Кирилл Владимирович с алым бантом «восхищает революционной осанкой солдат» (стр. 273), и как разобраться старой графине в этом хаосе: «Ради бога, куда ходит теперь Сергей Белосельский? Где проводит вечера Владимир Орлов? Где устраивает свои партии в покер князь Борис Васильчиков?» (стр. 119).

Как отвечает на эти важнейшие, основные вопросы столько видавшая графиня, современница Александра II, дожившая до нашей сумасшедшей эпохи?

* * *

Старая графиня сумела без злобы отнестись к урагану революции. Честь и хвала ей! Она с полным правом закончила свою книгу словами о том, что «никакой злобы она не унесет с собой в могилу» (стр. 304).

134 тома (прописью — сто тридцать четыре) собрал я в своей коллекции «мемуаров о революции». Деникин и Шульгин, Савинков и Керенский, Бор. Суворин и Д. Мережковский... Кого только нет в этой коллекции! Но почти никто из них не возвысился до того благородного, лишенного злобы отношения к революции, какое проявила старая графиня!

Ясно, как день, что радоваться, ликовать и приветствовать революцию, графиня Клейнмихель оснований не имеет. «Среди арестованных я увидела наших частых партнеров в бридж: графа Лориса-Меликова, графа Татищева...» (стр. 251).

Революция это очень неудобное и тягостное занятие.

«Мы делали сухари из кофейной гущи, из картофельной шелухи, лепешки из тертых бураков» (стр. 218).

До чего не похоже это на те привычки, какие были ранее у старой графини: В 1868 году мы вместе с великой княгиней были в Монтре... С собой везли собственный рояль, так как на другом княгиня играть не хотела. Кроме гофмаршала, врача, пианиста, с нами ехало 15 человек прислуги, массажистка, один камердинер-парикмахер, другой камердинер-хранитель драгоценностей и т. д., и т. д. (стр. 37).

Кроме тяжелых испытаний личной жизни, очень много жертв террора перечисляет графиня среди близких ей людей. И тем больше и очевиднее огромная душевная сила этой старой аристократки, сумевшей спасти свою душу от эмигрантской злости.

Эта старая кавалерственная дама могла бы многому научить своих правнуков.

Как здраво и ясно оценивает многое в прошлом автор мемуаров: «Великую княгиню Елену, тетку Николая I-го за ее левые убеждения называли «красной тетей» (стр. 56) — вспоминает графиня. По многим страницам книги, и сам автор мемуаров, графиня Клейнмихель, кажется такой вот «красной тетей».

Революция ужасна, но неизбежна. Еще задолго до революции графиня Клейнмихель с грустью пишет своей подруге, что в ее имениях «служащие, управляющие, директоры, техники и др., — в большинстве хорошо воспитаны, но дети их ужасны: в каждой семье вижу я маленького, 14-летнего будущего Марата, и маленькую 13-летнюю Теруань-де-Мерикур» (стр. 162). Что ж с этим поделаешь? Такова жизнь.

И в своих воспоминаниях старая графиня бесстрашно рассказывает и неудобную правду. Рассказывает и о том, как Александр III с женой подыскивали метрессу для Николая II («для охраны здоровья», стр. 173); и о том, как Николай II, когда его убедили не отпускать казенных денег на те лесные концессии на Ялу, из-за которых возгорелась японская война, дал на это свои личные средства (стр. 205), и о том, как любимец Алексадра III-го, охранный генерал Черевин, чтобы

помочь своему другу выиграть дело в суде «нарочно» перед процессом ссылает в Сибирь «жида-адвоката», ведущего дело противника (стр. 113), и о контр-разведке, которая ядовитее всех газов» (стр. 238), и о многом, многом еще.

Кому бы и быть черносотенно настроенной, если не графине Клейнмихель. Но большая душа у этой большой женщины, прожившей такую долгую и интересную жизнь.

За последние дни в эмигрантской печати усиленно демонстрируют двух старух.

Одну из них восторженно пред'явил только что проф. И. А. Ильин. — Такая мол старуха, что лучше не надо. Эта старуха поведала профессору свою суть о русской революции и ее основной ошибке. «Нельзя за то судить, что он глупые распоряжения делает. Хоть и глупые, а исполнять надо. На то, ведь, и царь. Ну, скажи ему, попроси, чтоб другой раз не баловался, а только распоряжение исполняй: царское, ведь!».

Вот она подлинная мудрость, — рассказывает об этой старухе профессор. Другую старушонку привела с собой Е. Брешко-Брешковская. Эта вторая оказалась иного типа. «Будь, что будет, лишь бы старое не вернулось», — заявила она Брешковской.

Когда вчитываешься в мемуары графини Клейнмихель, с уважением и нежностью видишь, что эта третья старуха всей книгой своей подтвердила именно второй тезис: «Будь, что будет, лишь бы старое не вернулось» — вот ее вывод, ее мудрость, сказывающаяся помимо воли графини.

«Хоть и глупый, да за то царь», — это ей не годится.

И от этого волнуют и привлекают эти воспоминания человека прошлого века, так искренно и ярко написанные, так веско и правильно названные графиней мемуарами «Из потонувшего мира».

XIII.

Современники.

Но не странно ли, что для того, чтобы в груде белых мемуаров обрести беззлобное и примиренное отношение к катастрофе исчезнувшего мира — надо было взяться за единственную в своем роде книгу прабабушки.

До чего убоги иные книги, написанные, напр., представителями злободневнейшей специальности газетной Ал. Амфитеатровым, или Ал. Яблоновским.

Ал. Яблоновский, напр., все усилия приложил, чтобы заслужить титул дедушки русской эмиграции.

— Расскажи что-нибудь интересное, дедушка...

Дедушка почему-то обижается: — Интересное?!.. Ишь ты! Еще чего выдумаешь! Семьдесят годов на свете прожил, — слава тебе, господи, ничего интересного не видал.

Эти характерные слова старика у Бунина неизменно приходят в голову, когда вчитываешься в то, что пишет о России «дедушка русской эмиграции» г. Александр Яблоновский. Ничего «интересного» в жизни России он не знает, и знать не хочет. — «Было сто пятьдесят миллионов болванов, да их всех вши с'ели» — таков — дословно! — поставленный им диагноз.

Это так странно: Ал. Яблоновский горячо и искренно рассказывает, как трогательно любят Россию ино-

странцы, каких он встречает на путях своего беженства. Какие то французы Дювернуа в Париже приглашают Ал. Яблоновского к себе на обеды, «чтобы поговорить на хорошем русском языке». И в самом центре столицы мира эта французская семья только и делает, что вспоминает, как они жили «у нас, на Остоженке», и горько жалуется на то, как тяжело жить в Париже после Москвы:

«Какие они все узенькие, коротенькие. и какие чужие! — жаловался мне monsieur Дювернуа.

— Кто?

— Французы.

— То ли дело Россия с ее простором, привольем и широтой безбрежной, — вздыхают эти, считающие себя коренными москвичами, французы.

И какой то турок в Египте восторженно напоминает Ал. Яблоновскому, как хорошо ловится рыба у берегов Большого Фонтана, и какие каштаны цветут, и какие дети бегают. «Карашо, урус! ух, карашо!».

И какой то еще немец в Берлине, бывший колонист, Август Шмидтендорф, в своей Puppenklinik в Берлине, свою работу исполняет добросовестно и аккуратно, но «сердце его там, в России, на крутом берегу Волги, где цвели вишни в его саду».

Об этой вот «тайне очарования», присущей России, пылко и красноречиво твердят Ал. Яблоновскому и французы, и турки, и немцы. Но он сам, Ал. Яблоновский, только и помнит, что в России — «хамье и сволочь». Совсем, как тот проезжий барин, герой одного из рассказов Яблоновского («Удружил»), который сердится на ухабы и толчки на пути: — «Сначала он бранил дорогу, потом земство, потом и всю Россию.

— Россия, чорт бы ее побрал! Отечество, — нечего сказать! — Не понимаю, как это находятся идиоты, которые любят эту анафемскую страну. За что ее любить? Уж не за дороги ли? Тоже страна называется!».

Ал. Яблоновский не одинок. Точно так же думают и чувствуют многие, многие ещё.

Пусть бы они не любили большевиков, это было бы в их устах понятно и легко об'яснимо.

Но сама по себе даже и предельная ненависть к большевизму и большевикам вовсе не исчерпывает отношения к России, как к буйному скопищу сумасшедшего «хамья» и взбунтовавшейся «сволочи». Оно гораздо серьезнее, глубже и страшнее.

В чем же дело? Откуда этот странный вид патриотизма; как, каким образом и почему создалась эта необычайная позиция по отношению к России:

«Было сто пятьдесят миллионов болванов, да их всех вши с'ели»?

Ал. Яблоновский человек талантливый и умеющий писать, а это встречается вовсе не так часто. У него свежий хохлацкий юмор с хитринкой. Правда, он безбожно повторяется. Сколько раз в его фельетонах встречаются одни и те же «изюминки»: и писарь, который обещает в пять минут «откатегорят усю систему», и уличный адвокат, который заявляет: «Я только такую статью пущаю, которая гласит. Но ежели статья не гласит, — то я ее вовсе не пущаю».

Даже отдельные словечки, вроде «талдычит» повторяет сотни раз Ал. Яблоновский, даже излюбленные цитаты: «Возле пустынников завсегда разбойники бывают. Так смешнее»...

И, если в одном месте у Ал. Яблоновского вы улыбнулись от неожиданной по тону фразы: «Чего Миша плачешь-плачешь, о чем Миша просишь-просишь», — то этот Миша будет повторяться снова и снова.

Сегодня Миша и завтра Миша, это уж скучновато. Но в умении писать, в даровании и остром пере Ал. Яблоновскому отказать, конечно, нельзя.

В новых книгах Ал. Яблоновского находим — увы! — только старые произведения.

Нового нет, нового не может быть, ибо какое бы то ни было творчество живет любовью, а не ненавистью и злобой. Чему же удивляться, что нет новых произведений за все последние годы у Ал. Яблоновского, если

ничего, ни одного нового слова не говорят, как мы видели, ни Ив. Бунин, ни А. Куприн, ни Д. Мережковский.

«У нас в России — писал недавно в своей статье «Я боюсь» Евг. Замятин: — остались одни только юркие авторы. Не юркие молчат... В наши дни — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь, Тургенев во «Всемирной Литературе» переводил бы Бальзака, Герцен читал бы лекции в Балтфлоте, Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить, — жить так, как пять лет назад жил студент на 10 рублей, — Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора», Чехову в месяц по сотне рассказов».

«Не юркие молчат». Но так же точно и еще безнадежнее молчат пораженные бесплодием, находящиеся за рубежом писатели, допустившие в свою душу демона ненависти и мести, отравленные ядом эмигрантской злости.

«Когда колокол утонет в болоте, он перестанет звонить, это естественно», наивно пишет и сам Ал. Яблоновский, адресуя этот афоризм Максиму Горькому.

Нельзя ограничиться одними публицистическими произведениями.

Всмотреться в «Рассказы» Ал. Яблоновского необходимо, если захотеть понять тот вклад, какой он сделал в общую сокровищницу белых мемуаров.

Два новых тома Ал. Яблоновского имеют очевидное право на читательское внимание. К сожалению, однако, на поверку в этой формуле «два новых тома» оказывается ошибка.

Пред нами книги не новые, а старые, не только до-революционного изготовления, но и вообще считающие за собою не одну земскую давность.

— Конституция, — говорит, напр., один из героев Ал. Яблоновского, переплетчик Абрам Ренетур: — конституция может быть будет, может быть нет, — я знаю? Но что будет погром — это знаю наверняках» (герой так и произносит — «наверняках»).

Цитат такого рода, доказывающих, что «Рассказы» появились на свет еще до 1905 года, в каждом из очерков сколько угодно.

«Купив у первой попавшейся бабы за три копейки горшок кислого молока и кусок хлеба»... мимоходом рассказывает автор о своем герое. Очевидно, речь идет вовсе не о «дензнаках 1922 года».

Само по себе, то обстоятельство, что «Рассказы» Ал. Яблоновского представляют собою не новые произведения, а перепечатку старых, еще не уменьшает их значения. Вовсе не одни новинки имеют право на внимание. «Книга — это ведь не французская булка», которая на завтра черствеет. Но давнее происхождение вышедших ныне в новом издании рассказов, на этот раз — не случайно. Это все то же бесплодие, фатальный, как видели, результат поправения.

«Рассказы» г. Ал. Яблоновского — это фельетоны, в большинстве занятные, с забавными словечками горбуновского пошиба.

Здесь адвокат просит мирового судью «возложить издержки на потерпимого». Если в процессе есть подсудимый, то должен же быть и потерпимый! (стр. 29).

Такие же здесь и клиенты: «Не клиент пошел, а какая-то дешевка, босявка какая-то... Скажите сами, это клиент, или это сволочь» (стр. 31).

Впрочем здесь вообще «плюют на правосудие» (стр. 99). И вот это то словечко «плюют», «калаголики», вместо алкоголиков (стр. 311), «юридический черезчур» (стр. 111) и др. — это и драгоценно для г. Ал. Яблоновского.

— Так его, так его! Бей его крепче! Бей его по картузу, по картузу его! (стр. 53).

— А к приставу ты хочешь, шарлатюга?

— К становому ты желаешь, босявка? (стр. 50).

Перед нами вовсе не «рассказы», а именно фельетоны. Само по себе, это вовсе не недостаток. «Все роды искусства, кроме скучного» — имеют естественное право на существование.

Но г. Ал. Яблоновский очень дорожит тем, что эти вот фельетоны его имеют именно беллетристическую форму, тем, что это «Рассказы». Рассказы — это, видите ли, гораздо «интеллигентнее», чем фельетоны. А интеллигентность г. Ал. Яблоновский обожает:

«Для нас, интеллигентов, это непонятно» — говорит, напр., он в одном из «Рассказов» своих о переживаниях своего героя, переплетчика, живущего в мещанской среде» (стр. 13).

И если Ал. Яблоновский хочет подчеркнуть свою симпатию к герою, народолюбивому адвокату, он в описании так и укажет: «Все его интеллигентное (!) лицо, как рамкой окруженное длинными русыми кудрями, осветилось радостной, светлой улыбкой» (стр. 268).

Итак, «мы — интеллигенты». И до чего же, и правда, характерно интеллигентские, в лучшем значении этого слова, все мотивы этих, давно написанных рассказов Ал. Яблоновского.

Читаешь и думаешь: — Да ведь он каждой строкой, каждым словом своим зовет революцию. «Пусть скорее грянет буря», — только это в «Рассказах» и видишь.

Вот мужики толпятся в камере молодого земского начальника, совсем еще мальчишки, «только-только усы засеялись», но строгого. Не только мужики, но и старшина и урядники находятся у него «под трепетом».

— Такой малый, а как затопчет, как закричит, — куд-ды тебе!

Толпятся мужики у земского все по одному и тому же «колоссальному вековому недоразумению»: мужик приносил сюда «свою теорию собственности, построенную на трудовом начале (что сработал, то мое), и свою теорию владения (мне дозарезу нужно)». Но все вокруг, — рассказывает Яблоновский, — все, елика на верху горе, елика на земле долу, и елика в водах, — все было чужое и дозарезу нужное... И от этого идет бесконечная вереница правонарушений: «на чужой земле хлеб посеял», «на чужом лугу скотину пас», «в чужом

пруду карасей наловил», «в чужой роще ягоды собирал», «чужое дерево срубил», «чужой песок возил», «чужой камень ломал» (стр. 63).

Правильные слова, золотые слова! Но какой же еще вывод, кроме призыва революции диктует читателю г. Яблоновский?

Вот и в другом месте г. Яблоновский рассказывает о «вакханалии наглости» в обращении с мужиками в царские дни, о том, как всякий, кому не лень из администрации издевался над толпой «девчат», едущих «на заробитки»: «Девушек хватали, мяли, щипали, хлопали, чтобы было не только больно, но и стыдно. — Такая уж у наших девчат доля; где какая сволочь не вырвется, сейчас и прицепится, хватает, скубет, рвет на куски. — Как ты по морде дашь, — не дашь...» (стр. 40). Вывод тот-же: так дальше жить нельзя!

И когда Ал. Яблоновский описывает порку в деревне, его пером водит естественное негодование: «Мужики, видите, бунтовали. Говорят, что они имеют право пасти скот, а помещица говорит, что не смеют: ее земля. Ну, помещица позвала начальника. Он собрал сход. Что вы, сукины сыны, бунт делаете. Я вас, подлецы, розгами. Бабы плачут и дети плачут, мужики тоже плачут, а кругом солдаты, а розги только свистят. И старика, самого старого на селе, пороли. Теперь на селе так тихо, будто в каждой хате покойник. И начальник, когда уезжал, говорил: Я, говорит, вам, подлецы, сотню казаков на постой пришлю и они всех ваших жинок...» (стр. 185).

Теперь г. Ал. Яблоновский забыл о тех выводах, какие с неизбежностью диктуются его «Рассказами». Но когда он писал их, он знал ведь к чему зовет.

Меньше всего, он, старый сотрудник эс-эровского «Сына Отечества» и эс-декской «Киевской Мысли», был склонен к смирению.

— Без копейки, без квартиры, без одежды, и в то же время так она себе молчит. Довольно таки оригинально! (стр. 164).

Вот рассказ о том, как живущий в ободранном холодном вагоне стрелочник Егорка «мокнет под дождем, дежурит в долгие морозные ночи, перекатывает в ручную вагоны и, как вихрь, бегает за папиросами для начальника станции». «Когда начальник станции толкал его в шею и в зубы, он только протяжно сморкался в руку и, сплевывая окровавленную слюну, моргал испуганными глазами».

Вот яркие рассказы о том, как «страдают разные категории» (стр. 273) в голодной, унизительной и темной жизни рабочих («В консультации»), рассказы о том, как живут в ожидании погрома нищие, не имеющие правительства евреи: «Самый счастливый день в жизни Хайки — был тот, когда ее мужа покусала собака и хозяин собаки подарил пострадавшему 25 рублей. Это был единственный случай, когда все жильцы завидовали ей и называли ее счастливой» (стр. 155), рассказы об уродствах семейного строя: «Муж паспорта не выдает. Вор он, форточник, работать не хочет, а меня не отпускает. Без паспорта ни на место поступить, ни квартиры снять», — говорит в слезах жена (стр. 292). «Я, конечно, бил жену по морде и, конечно, бил байстрюка, и тестя, конечно, бил. Я их, конечно, до смерти забью» — говорит муж (стр. 65). Вот рассказы об обысках и арестах, о жандармах и полицейских: «Ваше сиятельство, брушура!» (стр. 325). «Ты, Бесбатченко, имей наблюдение, а то я тебе хвост поломаю» (стр. 373). «Обыски, полиция, жандармы... Ведь это с ума сойти можно, ведь это чорт его знает, что за каторга» (стр. 257).

О чем бы ни писал Ал. Яблоновский, каждая строка его полным голосом говорит о том, что нельзя, невозможно так жить, как мы жили! «Пусть скорее грянет буря!».

И вот буря грянула. И с первых же дней революции гг. Яблоновские обиделись и на то, что солдаты лускают семячки, и на то, что низы — темные, и на то, что революция дело суровое и мучительное, и на то, что вокруг оказывается «хамье» и «сволочь».

Если бы тема об этом не была такой болезненной, — оставалось бы привести веские слова из книги все того же Ал. Яблоновского.

— Я еще понимаю, если человек проиграет дело и с досады дает истцу по щеке. Но выиграть дело и дать по щеке — это уже, как говорится, «юридический черезчур».

* * *

Дело не в том или ином отношении к большевикам. Дело в России! В глубине души Ал. Яблоновский не может не понимать, что замена Ленина с Троцким И. В. Гессеном с А. И. Каминкой, или Керенским с Черновым, или Николаем Николаевичем с Врангелем не улучшит, а только ухудшит положение. — Кем бы вы хотели заменить большевиков с завтрашнего утра? — На этот вопрос у Ал. Яблоновского ответа нет.

Дело, следовательно, именно в отношении к России. Если бы Ал. Яблоновский был монархистом, этаким забулдыгой-бакенбардистом, его позиция в отношении к «150 миллионам болванов» была бы не любопытна. Кому интересны этакие зубры, уцелевшие еще в Рейхенгаллях.

Но г. Ал. Яблоновский — демократ. «Мы, интеллигенты», — говорит он о себе. Как в свое время, национализация сейфов обидела почему то больше всего именно почтово-телеграфных чиновников и учителей, никаких сейфов сроду не имевших, — так словечки о «хамье» и «сволочи» зачастую повторяются теперь вовсе не камер-юнкерами из пажеского корпуса, а как будто и демократически настроенными, настоящими людьми!

Почему это? Думается потому, что мы все росли в рабской атмосфере. «Мне приходится мучительно, неустанно, настойчиво выдавливать раба из своей души. Сильные рабские навыки...» — читаем мы в письме даже такого человека, как А. П. Чехов.

Есть, думается, и еще причина: особая близорукость, уменье видеть только отдельные деревья, а не весь лес в целом.

Много горького уродливого и кровавого знает русская революция. Но это — революция, огромный сдвиг, перерождение всего строя жизни, и как же не снять шапку перед величием этого стихийного явления. Много темных пятен знала ведь и французская революция, но разве это помешало ей оказаться подлинно Великой?

Ал. Яблоновский смотрит иначе: Вот, говорят, взятие Бастилии, «во Франции и сейчас это самый большой народный праздник». По мнению Ал. Яблоновского, это не только глупо, но и подло.

В самом деле: что такое взятие Бастилии? «Всего семь человек освободил этот «мощный революционный порыв» — подсчитывает г. Ал. Яблоновский: четырех жуликов, двух сумасшедших и одного садиста. Только и всего» («Руль» № 540).

До чего жалостная, до чего убогая точка зрения! Какая воистину изумительная слепота! Видит Ал. Яблоновский четырех жуликов, а больше ничего в мировом празднике взятия Бастилии так-таки и не видит.

Остальное — это видите ли, не что иное, как легенда, т.-е. «раскрашенная потаскушка городских бульваров».

Долой красоту легенд, и да здравствуют «четыре жулика и один садист», вот и все, что по Ал. Яблоновскому есть ценного и подлинного во взятии Бастилии. Но если выжечь красоту легенды, то что же останется тогда от Иисуса Христа, от Моисея, от Магомета и Будды, что кроме «жуликов» останется от всей мировой истории, от всей нашей человеческой жизни на земле?

Нет нежного румянца на лице любимой, а есть сальные железы и волосяные мешочки, видные под микроскопом. Нет радости поцелуя, а есть соприкосновение слизистых оболочек. Нет любви Данте к Беатриче, есть одна только физиология. Долой легенду!

Нет красоты революции, есть только «четыре жулика», напрасно выпущенных из Бастилии, есть «хамье» и «сволочь» и 150 миллионов болванов. «Сколько годов на свете живу, слава тебе, господи, ничего интересного не видал».

Бедный, бедный г. Ал. Яблоновский. Что сделал, что только сделал из своего дарования, из всей жизни своей этот бывший демократ, бывший гражданин, бывший литератор, один из первых кандидатов на почетное звание дедушки русской эмиграции.

XIV.

Идеология белых мемуаров.

В берлинской черносотенной газете «Что делать?» было опубликовано следующее эффектное заявление:

«Русская монархическая эмиграция в Европе, за минувшие два года, создала прекрасную и разностороннюю монархическую идеологию. Она удовлетворяет всем запросам мысли и жизни».

В чем же заключается эта идеология? Увы, ответить на этот вопрос мудрено, если даже, не ограничиваясь монархическими трудами, вчитаться и в наиболее «левые» из белых мемуаров.

Нет идеологии, нет лозунгов! Ничего, кроме мечты о прошлом («турнедо за полтора рубля») и злобы к настоящему.

Типично обывательское мировоззрение, отражающееся в белых мемуарах, даже и не требует идеологических формул. В этих книгах заключено именно то, о чем беседуют между собой обыватели-эмигранты, встречаясь друг с другом в кафе или трамвае. Мне случалось встречать людей, которые как будто целиком и без остатка впитали всю эту мудрость. Каждый из этих обломков крушения повторяет одно и то же. Не стоит этой идеологии и в книгах искать. Ее в любом кафе сыщешь; от любого из белых эмигрантов услышишь.

Рано утром позвонили по телефону. — Вы знаете князя N.? Его вчера, при проверке паспортов, задер-

жали. Необходимо удостоверить личность. У вас паспорт в порядке?

Паспорт у меня, к счастью, оказался в порядке. Личность князя удалось удостоверить, и его выпустили.

После обеда князь заезжал благодарить. Вид у него — чуточку помятый и потрепанный, по сравнению с тем, каким я знал его в Петрограде, но держится молодцом. На брюках — складка, и даже монокль сохранил.

— И это называется культурная страна, — возмущался князь. — Сидели в ресторане с дамами, все люди нашего круга, и вдруг — обход, проверка документов. Иностранцы, видите ли, должны иметь при себе паспорт. Можно ли так распускать полицию?

Я оказался при особом мнении, и это, кажется, обидело князя. По моему, полиция — есть полиция, и, если русские монархисты стреляют в немецкой филармонии, то и немецкие городовые вовсе не обязаны считать для себя запретными двери русских ресторанов в Берлине.

— И, вообще, эти европейцы. Ведь даже в разгаре «наших» побед, когда Колчак и Деникин и Юденич были победителями, — они присылали нам только снаряжение и какие то консервы. Войск — они нам не давали. Жизнью рисковать, небось, не хотели.

Я и здесь оказался при особом мнении. — А вы уверены, князь, что если бы в России все было благополучно, вы отправились бы воевать, скажем, за независимость Ирландии?.. что вы были бы сторонником срочной мобилизации русских войск на предмет урегулирования дел хотя бы в Верхней Силезии?..

— Но это ведь совсем не одно и то же, — возмущался князь. — Мы в беде, и они, европейцы, обязаны помочь. Я был в Константинополе, я видел своими глазами эти бедствия. Вы поверите, настоящие графини, бывшие фрейлины, и вдруг торгуют собою на улицах Перы.

Это становилось утомительно, но я и здесь оказался при особом мнении. Мне казалось, что драма совсем не в том, что продаются графини и фрейлины, а в том, что продают себя вообще женщины, вообще живые люди. — Согласитесь, князь: я, например, совсем не графиня, и ни с какой стороны не фрейлина, но если бы, храни бог, моя сестра и ваша, князь, сестра, обе оказались бы в необходимости продавать себя жирному константинопольскому греку, то едва ли было бы справедливо считать мою сестру менее несчастной только потому, что она не родилась княжной, как ваша?

— Конечно, конечно... Между людьми интеллигентными — это различие не играет особой роли. Но, согласитесь, что есть все же разница. Убийство царя, например. Вы подумайте, какая трагедия!

— Но, по моему, убийство царя трагично как раз в той же мере, как убийство столяра или стекольщика. Убийство всегда ужасно, и кто посмеет сказать, что убийство в Екатеринбурге простой мужицкой семьи более нравственно, чем убийство семьи царской?

— Да, но согласитесь же. Это ведь был тот самый Николай II, перед которым унижались, которому подавали прошения на высочайшее имя.

— У расстрелянного столяра не было бы ведь и этого утешения. Он и всю то жизнь знал только труд, бедность и унижения. Перед ним никто и раньше не унижался, и ему верноподданнических прошений не подавали. Он не знал той сладкой отравы всемогущества, какую столько лет пил Николай.

Разногласия наши оказались настолько серьезными, что князь счел благовременным вспомнить, что он пришел собственно вовсе не для политических диспутов.

— Во всяком случае, — говорил он, прощаясь: — я очень рад, что эта история с паспортом кончилась благополучно. Задерживают вдруг и увозят на грузовом автомобиле. Вы подумайте... Какой то обход, облава. Как еврея какого нибудь, а?

* * *

— Милый князь! Я знаю вас давно. Вы совсем не плохой человек, и, конечно, не ваша вина, что вы живете в такое неудобное время. Где-то у Марка Твэна или Джерома — есть добрый совет: — Надо быть очень осторожным в выборе родителей!

Это правило было соблюдено вами, князь, полностью, и еще недавно вы имели право быть в восторге от своей предусмотрительности.

Но Джером забыл дополнить свой завет. Надо быть осторожным не только в выборе родителей, но и в выборе времени рождения. Если бы вы умудрились родиться в княжеской семье на каких нибудь пятьдесят лет раньше — все было бы благополучно. Вы так бы и успели сойти в гроб в уверенности, что ваша либеральная, княжеская правда безусловна, что она-то и есть вечная правда живой жизни. И вам не пришлось бы вздыхать о том, что к вам, сиятельному эмигранту, относятся как «к какому нибудь еврею»...

Сравнение с евреем, очевидно, не случайно. Еще Леонид Андреев жаловался, что русские — становятся «евреями Европы». И ушедший влево от «Нового Времени» профессор Пиленко также уверял, что русской эмиграции пора задуматься о «своем сионизме», о создании особого «правоохраненного убежища» на чужбине.

История, и вправду, затеяла какой то опыт, схожий с рассеянием евреев. Раньше всего этот опыт привел к проверке антисемитизма. С покон века утверждалось, что евреев не любят за то, что они евреи, что так наз. «национальное отталкивание» — вызывалось какими-то расовыми особенностями еврейства.

Среди русских эмигрантов не мало и антисемитов. Что испытывают эти антисемиты, слушая теперь по своему адресу именно те упреки, какие в свое время в России направлялись ими по адресу евреев. (— Зани-

маются больше посредничеством, а не производительными работами. — Занимают те места в учебных заведениях, которые нужны коренному населению. — Нанимают квартиры, тогда как и без них тесно и т. д., и т. д.). Чувствуют ли они, эти бывшие антисемиты, показательность всех этих жалоб? Если «национальное отталкивание» всего за несколько лет жизни русской эмиграции успело дойти до таких пределов, то, надо думать, не надо и тысячелетий, чтобы дождаться погромов и обвинений в употреблении католической или протестантской крови.

— Милый князь! Вы очень обижены, что вас задержал обход как «какого нибудь еврея». Это, правда, очень неприятно! Но сумейте, по крайней мере, сделать выводы из этого. Первый вывод ясен: антисемитизм — это вовсе не есть нечто специфически относящееся именно к еврейству. Это отношение человека, считающего себя хозяином—к чужаку, имеющего дом—к бездомному. Но этот вывод еще далеко не исчерпывает положения.

Мы, эмигранты, не случайно стали «евреями Европы». И я думаю, что напрасно пугают Россию грядущими погромами Суворины и Наживины, Зин. Гиппиус и П. Н. Краснов.

Погромы уже были, а не будут. Я верю, что они в прошлом. И мы здесь, в эмиграции, и вся Россия у себя дома — прошли серьезный университетский курс. И если мы здесь — поняли, что к любому князю, который остался без родины, — отношение стало совершенно такое же, как к «какому нибудь еврею», то и там поняли, что дворянин и православный Ленин не отличается от вовсе не православного и вовсе не дворянина Троцкого.

Погромы были, а не будут. Хватит!

* *

Милый князь! Вас мало утешает, что я говорю? Но выводы, уверяю вас, гораздо шире, чем вы думаете.

Дело не только в том, что погромы уже были, а не будут. Был уже, а не будет и террор.

Революции — увы! — не делаются в перчатках. Но пароксизмы революции все же кончаются. Вступают в силу новые завоевания, отпадают уродливые крайности и живая жизнь вступает в свои права.

От погромов — к порядку, от че-ка — к уважению к человеку, от безделья — к труду, по новому изогнулась кривая температуры на Руси. Какой то кризис, думается, миновал, и самое тяжелое, верится, уже позади.

— Моего государя убили, мои имения национализировали, мой сейф отобрали, — горько жалуетесь вы, милый князь.

Да, да, все это правда, и вы уже вовсе не князь, а только бывший князь, гражданин русский, и все это невозвратимо, и все это еще далеко не самое жестокое, что принесла с собой революция.

Но перед нами ведь не дебош, а история, и, ломая одно, она, даже против воли разрушителей, строит иное и всегда лучшее. Не учить Россию, а учиться у России надо всем нам. Нет, это не графини, а люди продают себя на улицах Константинополя, и не мужики, а люди мрут от голода и людоедствуют на берегах Волги, и не евреев, а людей когда то лишали права жительства и ловили на облавах, а теперь призывают грабить и убивать гг. Суворины.

Неравенство ума, таланта, изящества души и тела, это всегда останется, ибо таков закон жизни. Но неравенство положений, неравенство прав — это гибнет и исчезает.

Не горюйте, бывший князь, уже скоро будет свята и неприкосновенна всякая жизнь человеческая на Руси, и будет вольной, сытой и сильной наша Россия.

XV.

„Мы“ и „они“.

Как же это случилось? С покон века русская литература так резко отличалась своей идеологией от обывательско-мещанских устоев жизни. Если уродливы и убоги были эти устои, то литература была всегда возвышенна и идейна.

И вот целая гора белых мемуаров оказывается сплошь обывательской и шкурной.

Это, конечно, странно, это неожиданно и непонятно, но в лагере монархистов недавно прозвучало вдруг толковое и интересное слово. — Правда ли, что русская литература с покон века была всегда неразрывно связана с русским освободительным движением, с русской революцией?

Этот вопрос, поставленный пылко-монархическим С. С. Ольденбургом, интересен, конечно, лишь в той мере, в какой он относится к прошлому. В настоящем — увы! — знаем слишком хорошо, как трагически оторвалась было русская литература от русской революции. С той поры, как суровая действительность оказалась вовсе не похожа на поэтические и сентиментальные мечты о революции, — глубокая пропасть взаимного непонимания раз'единила оба эти берега. Но в прошлом? Принято думать, что, по крайней мере, в течение целого ряда поколений, занятых прекраснодушными мечтами о революции, — взаимного непонимания и

отчужденности не было и быть не могло, что, по крайней мере, в прошлом русская литература и русская революция были едины и неразлучны.

— Русская литература в прошлом своем была в лице своих лучших представителей чужда и враждебна революции. В какой мере правильно это запальчивое утверждение?

Как мальчик в сказке, выскочивший из подворотни с указанием на то, что «король голый», ярый монархист С. Ольденбург нового не сказал. Он только вслух высказал несколько слов из той области, о которой «не принято говорить» и, как и следовало ожидать, вызвал этим смятение великое. Уже поднят шум по всему фронту эмигрантской печати, и ликующе присоединился к твердокаменному монархисту некий добродетельный В. Каменецкий из «Руля», и обиженно запротестовал С. Поляков-Литовцев из газеты «Дни»...

— По какому делу шум? В чем сущность «трагического парадокса», выдвинутого С. С. Ольденбургом?

Очень скучно разбираться в том, в какой мере А. С. Пушкин был камер-юнкером. Ценно и бессмертно в Пушкине совершенно иное, и едва ли разумно, думается, сводить сущность вопроса к именам. Именно в этой плоскости парадоксы С. Ольденбурга неуязвимы. В этой области никак не поспоришь против того, что и Карамзин и Жуковский были, и правда, писателями придворными, что даже поэты-декабристы, как Рылеев и Одоевский, в своих стихотворениях были «романтиками русского царя». И если даже «муза мести и печали», «иссеченная кнутом» муза Н. А. Некрасова оказалась, как известно, повинна в создании оды Муравьеву-Вешателю, то как же отрицать «монархические черты» в жизни Пушкина, Гоголя. Грибоедова, Гончарова и Тургенева, Тютчева и Фета, Майкова и Полонского и т. д. и т. д., вплоть до гигантов Толстого и Достоевского, чья деятельность и жизнь, конечно, никак не укладывается в рамки так называемого освободительного движения.

* * *

Вопрос, поставленный С. Ольденбургом, остается все же очень любопытным и волнующим. Постановка его в полном об'еме в прежнее время, до революции, надо признаться, была совершенно невозможна.

Был шаблон, готовые мысли утвержденного образца господствовали в этой области, как и в очень многих иных. Как в свое время Чернышевские, Шелгуновы и Писаревы, как суровый цензор стоял на своем посту Н. К. Михайловский, и строго преследовались мысли неподобающие и еретические. Н. К. Михайловский был, по крайней мере, умен, но вслед за ним все тем же обаянием непогрешимости неизвестно почему гордился и любой, вовсе уже бездарный, Скабичевский. Какого-либо жандармского полковника еще можно было надеяться переубедить в чем-нибудь, но скабичевские, все как один, — были безнадежны, как сам папа римский.

Заранее было решено и молчаливо условлено, как именно надо думать по всем вопросам вместе, и по каждому в отдельности. И посмей только кто-нибудь не согласиться, — заклюют, со света сживут, особой стеной бойкота отгородят (как в свое время отгородили, напр., А. Л. Волынского, как еще и в наши дни пытались отгородить К. И. Чуковского).

Для ясности положения, — надо раньше всего перестать смешивать русскую литературу с русской интеллигенцией. Литература народа отражает именно весь народ, а вовсе не тот или иной слой его. Именно с этой точки зрения надо подойти к вызванным докладом С. Ольденбурга «еретическим» заявлениям: «русская интеллигенция не пребывает с русской литературой. Они в разных лагерях»... «Русские интеллигенты своей родной словесности не сродни»... «Русская интеллигенция должна еще заслужить свою литературу».

Для самого С. Ольденбурга способ «заслужить» имеется только один: — надо уверовать в монархизм, присоединиться к легитимистам и дружно затянуть хором национальную русскую песенку «боже, царя храни».

Для Б. Каменецкого из «Руля», несколько преждевременно и необдуманно поспешившего оказаться «в числе драки» и присоединившегося, — вопрос кажется несколько тоньше. Он не ставит точек над и, не зовет нас прямо в об'ятия Кирилла Владимировича или Николая Николаевича, а говорит деликатно и обиняком: — Есть мол на свете так-назыв. «святое мещанство», его надо беречь. «Что пользы в духовных бурях, в ломке гнилого и отжившего, в борьбе за будущее? Великие русские писатели, на что уж богатыри духа, а, смотрите, от Карамзина и до Достоевского, какие были смирные люди», как революцию ненавидели!

И уже бежит, торопится на место спора — «и я, братцы, и я, и я!» — г. С. Поляков-Литовцев, этот унылый «наследник» Скабичевского из газеты «Дни». Он в свое время написал ведь пьесу «Лабиринт», у него совсем как у Герцена-Искандера, двойная фамилия, и как же может этот Герцен для бедных, Н. К. Михайловский для некурящих, не поспешить загладить, зализать все разногласия, все шероховатости. Для него — главное это восстановить прежний «порядок», наладить все, как было раньше, до революции, когда все казалось простым и ясным. Его «точка зрения» проста и неизменна, как всякий шаблон: Русская литература всегда была носительницей высоких идеалов. Русская интеллигенция всегда защищала все высокое и прекрасное.

Нет ничего хуже этого тумана возвышенных слов, дешевых шаблончиков, не освещающих, а лишь затемняющих самые простые вопросы. Нет ничего хуже этих услужливых людей, которые всегда стараются вести себя, «как в первых домах», во что бы то ни стало «соответствовать» традициям лучшего общества.

Нынешние газетные Катоняты — это еще хуже, чем былые толстожурнальные Катоны. А ведь радости и от тех было мало.

— Толстые журналы? Нет, я этого не читаю, — говорил, пряча в бороду насмешливую улыбку, Лев Толстой. — Там ведь все одни и те же мудрецы пишут: Чернов, Белов и Краснов. Все одно и то же повторяют, и друг друга расхваливают.

* * *

Если былая интеллигенция оказалась так трагически чужда народу в самую важную, самую решительную эпоху, эпоху революции, — то из этого вывод можно сделать только один: — России нужна другая интеллигенция.

Дело не в том, чтобы замазать исторические противоречия сладкими словами, как это стараются сделать гг. Литовцевы. Дело не в том также, чтобы решить, какая из двух сторон: интеллигенция или народ, более виновата? Надо жить! Надо строить живую жизнь, а вовсе не заниматься препирательствами. Роль интеллигенции, которая «слишком хороша» для своего народа, ничуть ни менее трагична, чем в том случае, если она слишком плоха. Шляпа слишком большая, падающая на уши чуть не до плеч, так же не годна, как и шляпа, слишком узкая, едва надевающаяся на макушку. Шляпа, как, впрочем, и сапоги, должна быть по мерке.

Не надо вспоминать о временах Пушкина и изучать отношения поэта к царю Николаю I, чтобы убедиться в том, что основное зерно утверждений С. Ольденбурга о разном тембре русской литературы и русской революции в существе своем несомненно и бесспорно.

Русская интеллигенция, как и русская литература, всегда были вне классов, и совершенно понятно, что они оказались не однородными. Не забудем, что смешение стилей было до того обычным, что самый злой и желчный, боровшийся с самодержавием сатирик Н. Щедрин

занимал в качестве М. Салтыкова губернаторские посты, а редактор хранившего лучшие освободительные традиции журнала «Вестник Европы» М. Стасюлевич был тайным советником и получал все полагающиеся по штату ордена. Это считалось вполне естественным и нормальным.

Попытаемся, однако, отойти от чистой литературы. Всмотримся еще и в смежную область, в сферу профессуры.

Изумительно яркую и показательную фигуру являет собой, напр., В. О. Ключевский — гордость русской исторической науки. Чрезвычайно поучительно всмотреться в ту двойственную позицию, какую, думается, не случайно занимал этот ученый.

Этот талантливейший русский историк, чудесный профессор, в которого были влюблены не только его слушатели, но и вся, так назыв. «культурная Москва», вся так назыв. «мыслящая Россия», был, как известно, человеком насмешливым. Слушатели его значительно уже заранее знали и с нетерпением ожидали в определенных местах курса повторения его любимых «словечек»:

«Царь Алексей Михайлович заслужил имя тишайшего царя: у него было 14 человек детей», — говорил, поблескивая очками, из года в год профессор.

Примеров такого рода не оберешься. Любопытны они раньше всего потому, что насмешливость Василия Осиповича была густо пропитана определенно-освободительной тенденцией. Уже рассказывая о первом из Романовых, он неизменно сообщал, что малолетнего и неграмотного Михаила Романова избрали на царство потому, что «искали царя не способнейшего, но лишь удобнейшего». Также точно о втором Романове, тишайшем царе, Алексее, — В. О. Ключевский не пропустит случая указать, что «он был одним из самых приятных людей, добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека Руси, но только не на престоле».

Сколько таких эффектных и смелых, по тем временам, черточек собрано в блестяще написанных первых четырех томах «Курса русской истории» В. О. Ключевского.

До чего ярок здесь и Петр I, «больше делец, чем мыслитель», и Екатерина I «солдатская женка», и «немцы около русского престола, словно голодные кошки около горшка с кашей», и перевороты, при которых «гвардейская казарма стала соперницей сената и преемницей былых земских соборов».

И все время тонкий стилист В. О. Ключевский не расстается с этой своей любимой манерой ехидства. О Елизавете Петровне, которая уже с ранних лет не пропускала мимо себя ни караульных солдат, ни придворных конюхов, без того, чтобы не кинуться им на шею, В. О. Ключевский не упустит случая заявить: «Молодость Елизаветы Петровны прошла не назидательно».

Примеров такого рода не оберешься. Их нельзя не считать показательными. Пред нами ведь не простое мастерство фельетониста, а продуманное и четкое сознание историка.

Но посмотрите, как резко и неожиданно изменяется и стиль, и позиция В. О. Ключевского, по мере приближения к нашему времени. Можно спорить против той оценки, какую В. О. Ключевский неожиданно дает «царю освободителю» и великой реформе освобождения крестьян.

Для В. О. Ключевского не могло не быть ясным, что реформа далеко не доделана, что крестьян не только не освободили по настоящему, но еще и ограбили. Именно такое освещение вопросу давал уже в годы царствования Александра II профессор А. В. Щапов. И именно поэтому А. В. Щапов тогда же не только лишился кафедры, но и попал в Сибирь, где уже находился и Чернышевский «представитель экономической теории», в то время, — указывает проф. М. Н. Покровский, — как «представитель теории государственной»

Соловьев читал лекции наследнику царского престола. В. О. Ключевский, как будто убежденный на этом примере, какая из двух теорий практичнее, резко переходит в стан «государственников».

Царствование Александра II, по В. О. Ключевскому, «пошло навстречу» не только «заявленным», но даже и «почувствованным» потребностям, и те вопросы, какие успело разрешить, разрешило, оказывается, не только «с успехом», но и «с отвагой».

До чего непохоже на обычный, злой и насмешливый стиль В. О. Ключевского!

Впрочем по мере приближения к нашим временам,— идеалистами, какими-то херувимами с крылышками за спиной оказываются и Александр III, и Николай II. Если, напр., распустив 2-ую Думу, Николай II и Столыпин 3-го июня 1907 года подделали и изуродовали избирательный закон, — то сделано это «в соответствии с действительным соотношением общественных сил в стране».

Здесь перед нами, впрочем, дело, зависящее от точки зрения, вопрос, касающийся только освещения фактов. Как обстоит дело, по крайней мере с фактами, которые сами по себе должны бы, казалось, быть во всяком случае неприкосновенны?

До чего, однако, и в этом отношении пятый том Ключевского не похож на предыдущие. Трудно поверить, что этот пятый том, сухой и казенный, написан тем же автором, что и первые блестящие и глубокие четыре тома.

В. О. Ключевский считает, например, удобным промолчать о том, что Павел I не умер естественной смертью, а был убит, задушен целой гурьбой блестящих гвардейских офицеров. Ворвавшиеся в царскую спальню заговорщики, как известно, били «своего императора» по физиономии, топтали его каблуками, и, задушив его шарфом, гордились этим всю жизнь. Взошедший после этого на престол Александр I, заранее знавший о заговоре, не только не привлек никого

из убийц к ответственности, но напротив, взойдя на престол, в первые дни осыпал их царскими милостями. Но обо всем этом В. О. Ключевский не считает уместным говорить. Вместо описания убийства Павла, V-й том «Курса русской истории» ограничивается воистину казенной фразой: «Преемник императора Павла серьезнее и последовательнее проводил новые начала во внешней и внутренней политике России».

Как преемник, откуда преемник? А с Павлом же что случилось?

Впрочем, что же говорить о таких деталях, если Александр III, этот малограмотный фельдфебель на троне, оказывается чем то вроде живой совести Европы. Не даром ведь в «одобренные и рекомендованные» учебники для средней школы царского режима (К. В. Елпатьевский «Учебник русской истории», стр. 467) вошли такие, например, — дословно! — слова В. О. Ключевского: «Наука отведет императору Александру III подобающее место в истории России и всей Европы. Он, Александр III, покорил общественную совесть во имя мира и правды... Он, Александр III, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества... В России в воле царя выражается мысль его народа, а воля народа становится мыслью его царя».

Эти позорные строки, написанные В. О. Ключевским, не могут считаться только его личной виной. Это грех общий, один из огромных и не смываемых грехов русской интеллигенции в ее целом.

В. О. Ключевский не только огромный ученый, крупнейший русский историк, школе которого принадлежат и П. Н. Милюков, и В. А. Мякотин, и А. А. Кизеветтер, и С. В. Платонов, и мн. др. В. О. Ключевский, кроме того, еще и один из самых крупных представителей всероссийской интеллигенции. Его заслуги — это и наши, обще-интеллигентские заслуги, его грехи, это и наши, общие грехи!

Помню, во время полосы конституционных банкетов в 1905 году, — я, еще мальчишкой, начинающим лите-

ратором, оказался участником такого банкета, устроенного редакцией «Нашей Жизни» профессора Л. Ходского в Петербурге. По молодости лет, я восторженно слушал эффектные по тем временам речи о правопорядке в России, но вдруг один из ораторов, показав всем принесенную им с собой большую книгу, остановился в своей речи на этой «Книге нашего позора». Это был огромный, прекрасно изданный том, в котором были напечатаны верноподданические адреса, присланные Николаю II по случаю начала русско-японской войны. Были здесь адреса от профессуры, от студенчества, от врачей, от земства и городов, от «всей мыслящей России», и, боже мой, каким удушливым ароматом несло от этих «без лести преданных», густо патриотических, низкопоклонных и угодных приветствий обожаемому монарху. Как стыдно стало всем собравшимся на этом банкете свободолюбия от резкого непонимания о такой недавней, такой ненужной и такой неумеренной подлости.

Эти патриотические приветствия по адресу обожаемого монарха — были тем менее понятны, что обычной интеллигентской позицией в те времена — была формула «чем хуже, — тем лучше». — Пусть «нас» японцы поколотят, к конституции ближе будет! На войну все равно шли не «мы», пристроившиеся в тылу, в университетах и редакциях, а «они», серячки, «святая скотинка».

Впрочем, что же вспоминать эпоху 1905 года. Разве и в 1914 году, по случаю начала мировой войны, вся Россия не сошла с ума? Разве не ходили по улицам студенческие манифестации с трехцветными знаменами и портретами царя? Разве не целовался еврейский раввин с В. Пуришкевичем под звуки народного гимна? Разве огромная толпа, отправившаяся на площадь к Зимнему дворцу, не стояла на коленях и не пела без различия пола и возраста все того же рабского «боже, царя храни»?!

«Кто богу не грешен, царю не виноват». Это, конечно, верно. Все грешны! Но какого же трагического смысла

полны «еретические», выявившие в свое время столько нападок и насмешек, слова М. О. Гершензона, сказанные им в 1907 году в «Вехах» о том, что интеллигенция должна бы благословлять самодержавие, которое одно только, своими штыками и пулеметами, спасает интеллигенцию российскую от ярости народной!

«Мы и они» — это разделение существовало во всей силе своей еще и при царе. Мы не виноваты. Виноваты они. «Они», бюрократия, камарилья, звездная палата— губили Россию, а «мы» были здесь не при чем. Теперь время изменилось, воистину небывало. Сломано, поставлено на голову, переделано все сверху донизу, до самого основания. Но старая формула «мы и они» — это даже не трагедия; хуже того: это водевиль! — осталась неприкосновенна.

Виноваты и теперь оказывается «они». Виноваты большевики, виновата Антанта, виноват Керенский, виноваты Колчак и Деникин. Кто хотите, но уж, во всяком случае, вовсе не мы.

Даже странно! Кто же такие эти «мы»? Что эти «мы» делают, если умудряются сохранить невинность во всех положениях и при всех режимах? Может быть эти «мы» вообще ничего не делают, и пред нами просто жалкие недотепы, обреченные на слом суровой, не ведающей сентиментальности историей.

Сознание своих ошибок, своих грехов, — это вовсе не такой ценный товар, как это часто думают обожающие всякое покаяние, — по возможности публичное,— и со слезой! — соотечественники. Но без четкого и ясного сознания своих ошибок и грехов, без полного понимания, что виноваты воистину мы, все мы, а вовсе не только какие то мифические «они», нельзя мечтать о выходе из того тупика, в каком оказалась выцветшая, трагически постаревшая в последние годы, как-будто даже облысевшая интеллигенция российская.

Очень скучно обращаться к вопросам о том, был ли камер-юнкером А. С. Пушкин, занимал ли губернаторский пост Салтыков-Щедрин. Но «трагический пара-

докс», прозвучавший из уст монархиста С. Ольденбурга не ограничивается одной только областью литературы. Он горько подтверждается и на рассмотренном нами ярком примере двух ликов В. О. Ключевского, и на массовых уклонах от монархических манифестаций в июле 1914 года до сплошных красных бантов в феврале-марте 1917 года.

Пусть С. Ольденбург делает из этого выводы о необходимости скорейшего восстановления легитимной монархии. Пусть В. Каменецкий из «Руля» умиляется пред «святым мещанством», а С. Поляков-Литовцев из «Дней» бубнит о неизменности высоких и прекрасных заветов русской интеллигенции.

— Что же им еще говорить? У них нет других слов и иных мыслей. Они, эти люди, живут в области мысли «на всем готовом», «на хозяйских харчах». Они давным давно все знают, все нашли, и любой вопрос могут в два счета раз'яснить.

Но люди ищущие должны тревожно и искренно задуматься над трагическими парадоксами, вскрываемыми нашей эпохой. В наши дни нет и не может быть готовых и удобных устоев. Коренная переоценка былых ценностей, пересмотр всего, веками накопившегося, хлама, — такова неизбежная задача, выпавшая на долю нам, современникам.

Без этого никогда не прекратится уродливое и унылое разделение на «мы» и «они», никогда не будет подлинной и настоящей России.

Оглавление.